

ВЛАДИСЛАВ СОСНОВСКИЙ



ПРОВОДНИК

ПОВЕСТЬ

Они выплеснулись неожиданно из тёмной чащи кустарника. Вылетели на солнце, вспыхнули, обожжённые счастьем бесшабашного, упоительного галопа, и понеслись наперегонки, рассекая траву и цветы. Рыже-золотым клубком катилась по зелёному лугу Джулька, словно кто-то сильной рукой запустил её из сиреневых чащоб, а рядом с нею ошалело летел похожий на небольшого волка радостный Джулькин избранник Боцман.

Иногда Джулька прямо на бегу, на всем их бешеном спринте умудрялась лизнуть Боцмана в щёку морды, умудрялась обнять его лапой или просто коснуться шерсти, что тоже было проявлением любви. И Боцман совершал то же самое.

Если бы вы стояли на пригорке, а перед вами искрился, рассыпался и сверкал беспорядочный цветочный луг, по которому носились голова к голове две дворняги, вы бы сразу поняли: они любят друг друга. Они действительно любили и были неразлучны.

А дело началось с того, что Боцман, давно, видимо, положивший на вислоухую красавицу Джульетту свой острый собачий глаз, задыхаясь от счастья, проник в подъезд Джулькиного дома и, уже не в силах объясняться в чувствах, просто овладел ею. Они замерли в потоке блаженства и так стояли, ощущая любовь.

Но тут раздался оглушительный крик консьержки. Собаки сразу поняли, что эта тощая тётка со скатавшимися клоками вместо волос ничего подобного

---

*СОСНОВСКИЙ Владислав Геннадьевич родился в 1947 году в Днепрпетровске. После школы служил в армии, в 1968 году участвовал в военной операции "Дунай". После службы окончил Литературный институт им. М. Горького, затем стал журналистом и за 20 лет объездил весь СССР. Автор нескольких книг прозы, выходивших как в России, так и за рубежом.*

никогда не испытывала, и решили не обращать на неё внимания. Тогда консержка, сбивая каблук, понеслась на третий этаж к Борису Борисовичу, хозяину Джульки, и, брызжа слюной, стала кричать, что внизу происходит жуткая гадость.

Борис Борисович с Тамарой Петровной только что приступили к завтраку, и тут эта idiotическая консержка... Тамара Петровна сказала:

— Сходи, Лапа. Посмотри, что у них там.

— Где наши лыжные палки, Лапуля? — растерянно спросил Борис Борисович.

— Не знаю, Лапа. Наверное, там, в углу. Не помню. А зачем палки?

— Возможно, их придётся хлестануть. Знаешь, как бывает у собак.

— А-а... — поняла Тамара Петровна. — Тогда порыскай возле шифоньера.

В углу, возле шкафа, был своего рода склад уникальных вещей. Тут, одно на другое, было заботливо навалено всё самое лучшее. С мусорки. Кофты, рубашки, пиджаки, туфли, игрушки, коробки, радиоблоки, баян, телевизор, ящик со ржавыми болтами, лыжи и, конечно, палки всех сортов.

Борис Борисович подтянул походные джинсы, и, выбрав нужную палку, пошёл к консержке, которая уже топталась на пороге, словно перед ней закрыли двери туалета. Они спустились на первый этаж и обнаружили влюблённых, стоявших в той же блаженной позе. Борис Борисович терпеть не мог издевательств над животными, но, чтобы консержка закрыла, наконец, рот, хлестанул Боцмана по заднице. Любовь сразу прервалась. Боцман пулей вылетел из подъезда. Однако на Бориса Борисовича по благодетелю сердца не обиделся. Во-первых, потому, что его, случалось, бивали и сильнее. Он порою неделями отлёживался в подворотнях. А Борис Борисович... Это так, ерунда. Просто вежливо подсказал, что для любви нужно было найти более подходящее место. Это — во-первых. А во-вторых, не осерчал Боцман и потому, что Борис Борисович всё-таки имел непосредственное отношение к Джульетте, и это, конечно, надо было учитывать. Потому-то через три дня, когда Борис Борисович, нагруженный, как путешественник, рюкзаком с пустыми бутылками, влезал в троллейбус, Боцман тут же вернопопданнически прошмыгнул рядом и уселся у его ног. Он действительно был похож на волка-подростка. Густая чёрно-серая шерсть, острая волчья морда и всё понимающие, себе на уме, мазутно-сливовые глаза.

— Ну? — спросил Борис Борисович. — Что будем делать, жених?

Боцман понял, на этот серьёзный вопрос нужно как-то отреагировать, и подал в знак примирения лапу.

— Это — само собой, — сказал Борис Борисович. — Но от алиментов не отвертись.

Он не испытывал к постороннему дворовому псу неприязни за содеянное с Джулькой. Что ж, дело житейское. Кроме того, Борис Борисович любил всякое живое существо во всех его проявлениях, но, правду сказать, никаких прожектов относительно приставшей дворняги не строил, несмотря даже на протянутую в знак примирения лапу.

Так и ехали они в троллейбусе, позвякивая пустыми бутылками, довольно долго и далеко. Глядели друг на друга, и каждый думал о своём. Наконец, Борис Борисович выбрался из транспорта с гремящей ношей и направился к пункту приёма посуды, размышляя по пути, хватит ли ему вырученных денег на вино. А пёс уже преданно бежал рядом, словно Борис Борисович давно был его любимым хозяином.

На бутылку денег хватало. Борис Борисович торопился вернуться назад, чтобы в родных стенах обрести необходимое спокойствие и блаженство тела. Он напрочь забыл о собаке, втиснулся в переполненный троллейбус, и дверь за ним с лязгом захлопнулась. Боцман остался на остановке в чужой, далёкой стороне. Почему Борис Борисович с первой же встречи окрестил его Боцманом, один Бог ведает. Лишь когда они сели с Тамарой Петровной за стол, Борис Борисович вспомнил о собаке и засовестился.

— Бросил я его там одного, Лапуля, — переживал он. — Ведь это далеко. Он там чужой. У них, у собак, с этим строго. Чужой на территории — враг. Покусать могут запросто.

— Не убивайся, Лапа, — успокаивала мужа Тамара Петровна. — Они договорятся. По своим законам. Что ж, ты должен был его на такси везти?

— То-то и оно, — вздохнул Борис Борисович.

— Я не помню, Лапа, — с некоторой тревогой молвила Тамара Петровна. — Ты сегодня ходил хрусталь сдавать? Вроде бы я собирала тебе сумки.

Борис Борисович не обиделся на такую вопиющую забывчивость супруги. Он уже привык и смирился с тем, что Тамара Петровна, женщина ещё молодая — всего сорок два — выглядела теперь попутной старухой. Она в последнее время ничегошеньки не помнила, склероз останавливал её посреди комнаты с тряпкой ли, мылом или какой-нибудь ценной вещью с мусорки, ибо на полпути она уже не ведала, куда двигалась по какой-либо надобности и зачем.

— Ну, как же, Лапуля? Ты что, забыла? — возразил Борис Борисович.

Он и сам, сильно поседевший в последнее время, походил на молодого старика, хоть лет ему было чуть больше, чем Тамаре Петровне. Сознавая свою преждевременную старость, а может быть, даже ощущая незримые вёсла лодки, неуклонно несущей его в направлении реки Стикс, Борис Борисович, сдавшись течению, мирно называл себя дедом, хоть детей, а стало быть, и внуков у них с Тамарой Петровной не было.

Одевался Борис Борисович, надо сказать, с некоторым изыском, но с чужого плеча, что добывал в походах к мусорным контейнерам. Иногда, впрочем, попадались вещи добротные, почти новые. Тогда Борис Борисович с Тамарой Петровной радовались и недоумевали: до чего же люди бесятся с жиру, выбрасывая добро. А выбрасывали много чего. Бориса Борисовича со временем обуяла даже какая-то нездоровая страсть к таким экспедициям, и он тащил в дом всё, что ни попадя. Даже, откровенно говоря, то, назначения чему не знал вовсе. К примеру, под кухонным столом стояло электрополотенце, какие вешают в туалетах вокзалов, аэропортов, гостиниц и прочих заведений. Но Борис Борисович уже забыл и вокзалы, и аэропорты, а потому, обнаружив электросушилку, долго вертел непонятный предмет в руках, размышляя, какую бытовую пользу он мог бы принести. Так и не установив назначения полотенца, решил, что на него, как на мелкую скамейку, удобно будет ставить ноги во время, скажем, чаепития.

Тамара Петровна одобрила и похвалила находку мужа:

— Да, Лапа. Очень хороший ящичек. С зеркальцем. Но, может быть, он имеет какое-нибудь интересное свойство?

— Не без этого, Лапуля. Но ты же знаешь, я в этих предметах, что сапожник в аптеке. Поставим под стол, и будем держать на нём ноги для отдыха.

— Правильно! — обрадовалась Тамара Петровна. Она уже давно, потеряв свои умственные ориентиры, привыкла соглашаться со всем, что говорил и делал Борис Борисович.

Понятно, так было не всегда. Когда-то, лет десять назад, Тамара значилась в оркестре народных инструментов талантливым музыкантом и очаровательной, остроумной, даже ироничной женщиной. Попасть к ней на язычок не судило жертве ничего хорошего. Потому-то у Тамары было немало недругов, завистников и просто врагов. Но в большинстве коллеги её уважали и считались с ней как с перспективной творческой единицей.

Борис любил её.

Он тоже работал в этом оркестре, где считался виртуозом баяна и балалайки.

Тамара была для Бориса не просто любовью, а какой-то горячей страстью. Безрассудным самозабвением. Тогда они были молоды, удачливы. Жизнь несла их под белыми парусами в просторный океан, где гулял лёгкий ветер шальной удачи и реял на горизонте серебряный бриз успеха и славы. С этим, знаменитым тогда оркестром, которым командовал вместе со своей женой дирижёр Виктор Александрович Степанов, Тамара с Борисом объездили полмира. Они жили ясно, жадно, широко, не думая ни о деньгах, ни о служебных лестницах, просто дышали жизнью, как дышат, наслаждаясь, лёгким

морским воздухом. Нью-Йорк, Париж, Лондон, Токио были только вехами признания и любви друг к другу. Кипучая, захватывающая деятельность на высоких волнах российской музыкальной культуры составляла всё их существование.

Конечно, это была работа. Работа с утра до ночи. До крови из носа. Однако о другой жизни они не помышляли. Репетиции, выступления, концерты, путевые приключения. Рестораны, банкеты, экзотические места шумно неслись навстречу, как несутся перелески, озёра, мосты навстречу летящему поезду. И, казалось, это будет вечно. Но вечно так бывает редко.

Тяжёлые тучи уже нависли над Борисом с Тamarой. Над Тamarой, конечно, из-за её острого языка. Над Борисом из-за того, что он от хмельной любви к миру, музыке и Тамаре не однажды, очарованный жизнью, выкатывался, дыша вином, в стерильный воздух очередной гостиницы. А выкатываясь, как назло, сталкивался лоб в лоб, розовощёкий, сияя восторженными глазами, с руководителем оркестра и, тем паче, с его неотлучной цербершей-женой, у которой не числилось других обязанностей, кроме как надзирать за моральным обликом каждого музыканта. Поговаривали даже, что она, Капитолина Марковна, состояла на службе в КГБ. Кто знает. Может, и на самом деле.

Однажды в Неаполе ожидали вылета в Москву. Солнце плавало окна аэропорта до жидкого стекла. Машины взлетали в синем дрожащем мареве. Люди сомнамбулическими тенями плавали в зале ожидания, как рыбы в аквариуме. У Бориса тупо ныла голова после вчерашнего банкета. Он направился в бар, чтобы выпить рюмку “Мартини”, но путь ему неожиданно преградила Капитолина Марковна.

— Вы куда?

Борис Борисович, нужно сказать, был человеком добрым, но хамства и наглости в отношении к личной свободе принять со смирением не мог и, ощутив мгновенно от вопроса Капитолины Марковны тугую волну негодования, зло прошипел ей на ухо:

— Иду сделать пи-пи, дорогая наша блюстительница. Могу я пописать без свидетелей?

Жена командующего оркестром отпрянула от Бориса так, словно он имел на теле под итальянской ослепительно белой рубашкой вредных, опасных насекомых.

Вот эти две ответные, не совсем, скажем, культурные фразы Бориса и решили всю дальнейшую судьбу музыканта. Его и, понятно, Тамары. По возвращении в Москву Степанов неожиданно затеял конкурс на профпригодность, то есть на соответствие, иными словами, того или иного оркестранта своему музыкальному месту. Борис тогда обречённо понял, этот спектакль разыгрывается исключительно для него.

Из балалаечников состязались трое. Ветеран Белов, Борис Борисович и молодой, никому не известный, кроме, конечно, Степанова, парень — Шмаров Анатолий, недавний выпускник Гнесинского училища. Ему предложили сыграть две не особенно сложные, тем более, основанные на народной тематике, пьесы Римского-Корсакова. Ветеран Белов отыграл то, что сто раз уже исполнял в разных концертах. Отыграл лихо, bravo, широко, с ветеранской печатью качества.

На пиюитр Бориса легли ноты Шумана, Рахманинова и Ждановича. Сыграть этих композиторов с листа — дело куда как не простое. Борис ещё раз утвердился в мысли, что его хотят утопить, а вместо него посадить вот этого розовощёкого, с лёгкими пушистыми усиками паренька, Анатолия Шмарова, который, скорее всего, был либо чьим-то сыном, либо непосредственно родственником самого Степанова или его постылой жены, Капитолины.

В битву Борис, тем не менее, всё же вступил. Шумана с Рахманиновым он сыграл достаточно легко и молодежavo. С интонациями и чувством, гармонично, грамотно, профессионально. А вот со Ждановичем, сочинения которого Борис никогда, прямо скажем, в глаза не видел, а музыка являла собою сухие тренировочные упражнения, трескучие переборы гамм, нелепые переходы с тональности на тональность, было столь же сложно, сколь и опасно.

Честно говоря, Степанов внутри себя не хотел расставаться с Борисом: он любил и ценил одарённых музыкантов. Но жена учинила настоящую истерику, и командуемый оркестром сдался. Опять же, Шмаров Толик — племянник Капитолины. Его нужно, хоть умри, куда-то устраивать. Одним словом, Борис Борисович оказался обречён.

Он вытер перед Ждановичем пот со лба и перевернул страницу нотной тетради. Чувствовал, рука его не дрогнет, инструмент не подведёт. Он сейчас закипит, запоёт, заплещется. Но где гарантия, что даже он, профессиональный музыкант, не собьётся на умопомрачительных вариациях? Какое-нибудь колено предстоящей пьесы нужно проигрывать два, три, пять, а то и десять раз, чтобы овладеть им в совершенстве.

Борис посмотрел в ряд жюри, на Степанова. Посмотрел, как гладиатор на патриция, большой палец которого обращён вниз. Степанов отвёл глаза в сторону. Борису всё стало совершенно ясно. Но он решил сражаться до конца. И, конечно, проиграл. Где-то, понятное дело, сбился, споткнулся, упал. Впрочем, выиграть было невозможно. Степанов знал, чем свалить человека, даже музыканта-профессионала. И свалил.

Двери оркестра захлопнулись. На другой же день они захлопнулись и для Тамары, поскольку ни её душа, ни сердце, ни, тем более, язык не могли вынести открытого геноцида в отношении мужа.

После переездов, гастролей, выступлений наступило неподвижное, гранитное затишье, которое и Борис, и Тамара молча слушали, оглушённые наступившей тишиной. С самого утра они закрывали ещё необжитую, пахнущую пылью и одиночеством квартиру Тамары и отправлялись к Крылатским холмам, которые высились неподалёку от их дома.

Тогда зеленел июль. Пёстрое разнотравье густо застилало всю овражную часть возвышенностей и церковное подножье до самого святого источника, что струился в низине круглый год из далёких глубин времени. Словно бы целые века журчали в прозрачном ручье, обнажая крупинки чьих-то далёких судеб, которые прозрачными тенями бродили по вечерам в лиловых сумерках. Колокольный звон медным эхом отдавался в вечности.

Борис с Тамарой садились обычно в густую, мягкую траву под дремотными берёзами, доставали вино, еду и начинали долгое, до темноты, путешествие в прошлое, к пролетевшим поездкам, концертам, приключениям и счастью. Теперь всё было позади: и концерты, и приключения. И счастье. Вот так, если поглядеть со стороны, грустно и бездарно пролетали дни, а за ними недели и месяцы жизни.

Незаметно стряхнули скромницы-берёзы с тонких, чеканных веток золотые листья. Над крестами церкви Пресвятой Богородицы нависли тяжёлые, пепельно-чёрные тучи. От гребного канала подул тягучий мокрый ветер и косяю моросью двинулся на город бесконечный, унылый дождь.

Борис с Тамарой водворились в зимнюю квартиру. Теперь они наблюдали сквозь заплаканные окна многоглазую, но равнодушную стену противоположного дома. Под вечер он зажигал мутно-жёлтые огни, освещая тени трудовых людей, торопившихся сквозь кислый дождь в свои тёплые жилища. Сумрак застывал, как желе, подёрнутый серой рябью однообразия и скуки. Крылатские холмы в это время ходили на каменное кладбище, оглашаемое порою стенами порывистого ветра.

Борис иногда спускался за коньяком. Как за спасением. В магазине, располагавшемся на первом этаже их дома, его с Тамарой уже все знали. Продавщицы думали-гадали, судили-рядили, чем это можно в музыке таким заниматься, чтобы частенько пить дорогое вино.

О средствах пока музыканты не заботились. От былых концертов и выступлений денег оставалось достаточно.

Иногда под настроение Тамара пела. Она вдруг надевала лучшее платье из своего обширного гардероба и начинала исполнять, словно в концерте, какой-нибудь старинный русский романс. Голос у неё был чистый и мягкий, грамотный, без тени ошибок и фальши. Борис всегда слушал с удовольствием. Слушал внимательно, но несколько предвзято. Как, скажем, член жюри.

— Чего это ты, Лапуля, в си бемоль миноре очутилась? — В среде музыкантов это была трудная и противная тональность.

— Разве? — удивлялась раздумывавшаяся Тамара. — Мне казалось, это чистая си.

— Нет, Лапуля, си бемоль.

— Ну, ладно, — соглашалась Тамара. — Тебе видней. У тебя, Лапа, абсолютный слух.

Дождь не кончался. Сонно текли дни, однообразно слетая в никуда ненужными листками календаря. Размытые и водянистые, как глазницы домов, дни не оставляли по себе воспоминаний, укладываясь в памяти бледными пустыми пятнами. В крови своей они не имели гемоглобина времени, и потому просачивались в подсознание безликими, уродливыми тенями с цементными, мокрыми зрачками.

— Знаешь, Лапуля, — сказал как-то Борис, погружённый в мрачные раздумья. — Я, пожалуй, убью их. И Капитолину. И самого Степанова. Они не достойны жизни. — Он взял рюмку и посмотрел сквозь неё на свет лампы. — Интересно, сколько сейчас может стоить оружие?

Тамара, неподвижно глядевшая до этого в чёрное зеркало окна, встрепенулась и в ужасе закрестилась. Она была верующая.

— Что ты, Лапа! Господь с тобой. Ты что, нехристь какой?! Всё лето под храмом просидел и вон чего удумал. Ты убьёшь, — совсем отрезвела Тамара. — Тебя посадят, а я тут совсем умру. Да и можно ли о грехе таком думать? — жарко высказалась она и заплакала.

Борис поднялся, прижал Тамару к себе, погладил по волосам.

— Ладно, воробей. Ладно, — утешал он. — Это я так... От горя нашего. Ты же знаешь, я червяка не обижу. А эти сволочи... Посмотри, что они с нами сделали! Куда мы катимся? Мы же, Тома, летим с тобой в пропасть. И столкнули нас туда они, Степанов со своей мысрой. Вот я и подумал: им не место на земле.

— Ах, Боря, Боря, — всхлипывала Тамара. — Разве не понимаешь, ты не судья. В этом мире один Блосгитель. Он их и накажет. Никуда не денутся. А мы... Что мы?... Господь и нам подаст руку. Вот увидишь. Всё будет справедливо. Каждый получит по делам своим. Конечно, я тоже была виновата. Людей подзуживала, злословила. Гордыня меня душила. А ведь это грех, Боря. Большой грех. Может, я иногда думаю, за то мы и наказаны с тобой, Лапа.

Нынче отставные музыканты перестали замечать время, дни и месяцы. Часы в их доме в недоумении застыли и больше не заводились. Борис с Тамарой с некоторых пор забыли даже, кем доводились друг другу, забыли, что в былые времена их связывали и нежность, и любовь, и общие устремления. Да и вино прежде служило лишь радостным дополнением к основной, постоянно обновляющейся, феерической жизни. Сейчас она обрела вид тусклого однообразия, медленно перетекающего из одного утра в другое. Из одного вечера в следующий. Трезвые минуты вопили им в уши визгливыми голосами обрушившейся трагедии, и, имея тонкий музыкальный слух, и Борис, и Тамара не в силах были совладать с этими звуками. Они, звуки, словно бы сливались в одну долгую какофонию из визга трамваев, надсадных криков электропоездов, топота людской массы в метрополитене, сочных ударов топора мясника, грохота разбитых стекол... Сверкающие, колючие звуки.

По утрам, пока Борис неспешно одевался, справлял туалет, брился, Тамара хлопотала на кухне, пекла замешанные на воде блины, которые при остывании нужно бить молотком. Готовить она не умела. Они с Борисом привыкли к ресторанам, кафе, быстро и по поводу приготовления еды не знали прежде никаких забот. Но Борис на Тамару как на хозяйку не обижался, жалел её и считал, что Тамара пострадала из-за него.

Так прошелестела метелями одна зима, другая. Жизнь листала их, как серебряные страницы заиндеветшей книги. Из искрящихся ночей пробивались порою волшебные звуки цыганских скрипок и гитар, повенчанные

хрустальным звоном разыгравшихся бубенцов. Нежным комом бешено уносились прочь недели и месяцы, унося на своих крыльях пепел былой славы и мастерства.

Однажды по весне, когда по всей округе зашумела сирень, и от Крылатских холмов потянуло обворожительной прохладной свежестью, Тамара вышла на залитый солнцем балкон и молвила в восторге:

— Как хорошо!

— Всё! — твёрдо сказал Борис. — Больше ни капли. Начнём сначала. Какие наши годы!

Отныне репрессированные музыканты, отбыв в лесу золотых свечей заутреннюю в церкви Успения Богородицы, спускались, дыша густой зеленью, в низину холмов, к чистому целебному источнику, и Тамара успевала набрать букетик ландышей. Через неделю-другую она посвежела, разрумянчилась и вся засверкала былой радостью, негой и желанием. Борис в сладком защемлении сердца тут же отметил этот неоспоримый факт. Он и сам окреп, поправился, мешки под глазами исчезли, а зрачки налились солнечным весенним светом. Их ночи с Тамарой наполнились прежней любовью. Мир снова стал чудесным. Тикали заведённые часы. Одурающе пахла сквозь открытые окна свежая зелень.

К лету Тамару осенило.

— Собирайся, Лапа, — наказала она Борису. — Поедем в деревню. Чего тут московскую пыль глотать?

В глухой деревушке под Тулой у Тамары жила родственница, всемирная старушка о восьмидесяти годах. Она сама себя называла всемирной, из соображений, очевидно, общей схожести всех старушек планеты, и жила в счёт будущей жизни.

— Я, оказывается, уже была прежде. В ранние века, — сообщала она односельчанам после прослушанной однажды передачи по радио. — И потом рожусь опять. А вы как думали? Рожусь. Рожусь. Молодой. Красивой. Хтой-то сызнова в меня зерно вбросить. Так оно и будет без конца-края, — пророчествовала старушка, баба Наташа.

Вот к этой просвещённой родственнице и надумала ехать Тамара, раз уж коньяку, слава богу, дали отбой. Борис, узнав, что деревню огибают тихая рыбная речушка, да лежат посреди леса два серебряных озера с карасями, тут же помчался покупать удочки. Тамара вдруг обнаружила в себе практическую жилку. Она позвонила в агентство, и уже через час на пороге её квартиры стояли муж и жена, молодые учёные, готовые за приличную сумму снять хоромы Тамары Петровны на всё оставшееся лето.

— А что, Лапа, — объяснялась Тамара. — Тебе к зиме верхнее пальто надо? Надо. И мне шубку. Мы-то с тобой, как птички, всё больше по тёплым странам порхали. Нам зимняя одежда не нужна была. Теперь приходится заботиться.

— Верно, воробей, — соглашался Борис. — Ты у меня умница, Лапуля. Мне бы и в голову не пришло, что можно на нашем отъезде ещё и денег заработать.

— Я уж давно сообразила, — радовалась Тамара. — Только боялась, ты рассердишься.

— С чего бы это, Лапуля? — удивлялся Борис. — Всё ты исключительно верно придумала. Бочка-то у нас не бездонная. Поступлений никаких. Благо, в последние годы славно платили. А так бы нам с тобой одно оставалось — в метро с протянутой рукой. Или верёвочку куда приладить. Кому мы нужны, народники, в век шоу-бизнеса?

— Господь с тобой! — испуганно крестилась Тамара. — Выбрось из мыслей верёвочки. И не вспоминай вовек. Вот что я тебе скажу: вернёмся из деревни — будем искать работу. Хватит лодырничать. Подумаешь, трагедия. Да что, на Степанове свет клином сошёлся? Всё будет хорошо. Ну, что ты сидишь?

— А что?

— Поцеловал хотя бы.

Всемирная старушка баба Наташа встретила гостей радостно. Все её застывшие от старости чувства вдруг воспламенились, запылали в душе ярким огнём счастья.

— Ай, молодцы, что приехали! — всплёскивала она руками. — Уважили. Вспомнили старую. Живите на доброе здоровье. Места усем хватить. Какое сердечно! А мужик у тебя справный, — без лишнего стеснения разглядывала баба Наташа Бориса. — Гладкий мужик. Только тонкий маленько. Ну, это не беда. Мы его тута поправим. Огурчики, помидорчики пойдуть. Вот он у нас и взопреить.

Они расположились на втором этаже, в ладной, уютной мансарде, под окнами которой уже пылал белым цветом вишнёвый сад. Вдали видны были бархатно-зелёные поля, окружённые со всех сторон таинственной, тёмной стеною дрожащего в солнечном мареве леса.

Борис открыл окно, и сердце его прямо-таки забилося, зашлось, защемило счастливой тоской детства, когда хочется всего сразу... Словно тебя накрыли лёгкой золотой парчой. А в руках живёт и толкается горячей кровью трепетно-нежное тело мира.

— Знаешь, Лапуля, — признался Борис. — Я сейчас смотрю на всё это юное, какое-то торжественное рождение земли, смотрю и слышу музыку.

— Тут везде музыка, — согласилась Тамара. — И в саду, и в лесу, и в поле, и на озере. Мне кажется, — добавила она, — ты ещё не всё слышал, мы ещё не безнадёжны.

— Надо же, проехали полмира, — сказал Борис, не в силах оторваться от вида за окном, — но мне вдруг подумалось: все прошлые впечатления не стоят и одного здешнего дня, одного взгляда на такую вот затерянную русскую деревню. Весна, деревня, цветущий сад. Какая-то тёплая мелодия юности.

— Да, милый, — сказала Тамара и вздохнула, словно сожалела о потерянном в тех заморских поездках времени.

— Тула, Калуга, Ярославль, Новгород — всё русская земля, — пространно сказал Борис. — Здесь, а не где-нибудь, душа Петра Ильича Чайковского наливалась восторгом и печалью, тоской и счастьем. Всё это переплелось под его пером и стало бессмертным.

— Да, Лапа, — тихо сказала Тамара. И, помолчав, добавила: — Кстати, нотная тетрадь, даже три, лежат на дне клетчатого чемодана. Это к тому, что если тебе срочно понадо...

Борис быстро повернулся и благодарно поцеловал Тамару в губы, а затем жарко выдохнул:

— Любимая моя! Ты не знаешь, как я... Какие у меня внутри... Ты моя единственная. Милая моя. Хорошая.

Речка протекала недалеко. Борис на потеху местным жителям начал бегать по утрам в одних шортах на берег, где уже сидели с самодельными, выструганными до костяной белизны удочками деревенские мальчишки. Он бросался в прохладную, плавную воду, плыл и возвращал себе былую, юную силу. Удил рыбу и частенько возвращался с вязанкой крупной серебристой плотвы. Попадались и полосатый окунь, и лещ, и щука. Дни казались одним светлым праздником.

Баба Наташа и Тамарой встречали солнце, копаясь в огороде. Две согбенные фигуры, два повёрнутых на запад, оттопыренных зада среди сверкавшей от росы зелени напоминали о старине и вечности.

Дом всемирной старушки был старше хозяйки, но держался ещё ровно, молодцевато и даже как-то хвастливо, возвышаясь над соседскими избами. Нижний этаж его состоял из просторной зимней комнаты с широкой, топившейся дровами русской печью и двух летних террас. Второй, подкрышный, где обосновались Тамара с Борисом, представлял собою обширную, пахнущую деревом и старыми тряпками мансарду. Тут баба Наташа имела склад из двух доисторических сундуков, берёзовых веретён, прылок, кос, икон и древних книг с маслянисто-жёлтыми, как осетрина, страницами. По углам, молчаливо насупившись, сидели в полумраке четыре почтенных, пожилых дивана. На одном из них и ночевали теперь опальные музыканты.



Днем в мансарде душно и неуютно. Монотонно зудели мухи, и от жары трудно было дышать. Зато ночью дневное тепло выветривалось до самого утра, а в окне, как в стоячей чёрной воде, покоились, что хрустальные яблоки, совсем близкие звёзды, с которых на Бориса постоянно слетали нежные, запредельные мелодии, плывущие от неведомых, искрящихся созвездий. Хаос, вражду, ложь, убийства, жажду власти, тлен и гниль настоящего — всё смывали они, поселяя в душе завещанные Богом любовь к миру и вселенский покой.

Летнее помещение вечной бабы Наташи имело ту же антикварную мебель, доковылявшую до насущных дней из глубин истории: две кровати-лежанки, да шкаф, да стол, да сундук с приданым для малой внучки, да ещё один стол с тарелками-кастрюлями и, конечно, предмет современности — огромный, как собачья конура, ламповый телевизор. Стены украшались коврами над каждой кроватью. Один являл собой традиционный восточный орнамент на красном фоне. Другой изображал забаву праздных дворян — княжескую охоту на оленя. Борис смотрел на эту животрепещущую картину, где рогатую жертву настигала стая гончих псов, и слышал лай собак, топот копыт да козий голос близкого рожка. Так ясно ощутил был далёкий приют одинокой избы на краю бездны.

По ночам дом просыпался. Он вздыхал, кряхтел и шуршал чем-то в подкрышных углах.

— Домовой, — в сладком ужасе шептала Тамара и, тихонько смеясь, теснее прижималась к Борису. Однако все шорохи и скрипы вскоре перебивались оглушительным волшебным боем соловьёв. Ночные птицы радостно захлёбывались в тягучих признаниях своим возлюбленным, таившимся в фосфорической, цветущей мгле.

Эти звонкие яркие, как одуванчики, голоса, чердачные скрипы, ровное дыхание сосен, свежий аромат полей, плеск воды и щебет ранней птицы — всё это были трепетные голоса родины, которые Борис бережно помещал в сердце для ощущения будущих мелодий, точно зная, что ни в каких Бразилиях и Америках ничего подобного не сыщешь. “Вот уж верно говорят: что Бог ни делает — всё к лучшему”, — думалось Борису.

Не уволь их Степанов из оркестра, бегали бы они сейчас, обливаясь потом, по чуждой территории с пудовыми чемоданами, так, может быть, и не узнав ни запахов, ни красок, ни звуков родной земли.

В начале лета, после весело прокатившихся гроз, дуга и лесные поляны взошли густым разнотравьем. Тамара неожиданно открыла Борису свои знания растений.

— Вот эти белые блюдечки на крепких высоких стеблях — тысячелистник. Запаха в нём нет, но трава очень полезная. Вот, смотри, жёлтые свечки — зверобой. Травка замечательная. От всех болезней. Можно заваривать, как чай. Синие свечки — шпорник. Эти розовые — дикая мальва. Вот подмаренник. А вот, гляди, Лапа, белые, как снежок, — поповник. Сколько их тут! Мамочка родная! — вскрикивала Тамара, как девочка, ощущая приплывшее из далёкого детства счастье и забывая обо всём на свете.

Борису становилось стыдно, что он не знает названий диких трав и цветов своей родины, но он светлел душою за Тамару, которая порхала в пёстром разноцветье, как вольная бабочка. В каждом походе она набирала огромные букеты, и дом всемирной старушки теперь ходил на какой-нибудь цветочный павильон, купавшийся в густом запахе лугов и лесных уголков.

В это время Борис с Тамарой любили друг друга, как никогда прежде: такими насыщенными и сверкающими были их дни и ночи. Все звуки, запахи, краски, невольно собранные с раздольного поля, таинственного озера, задумчивого леса, сливались в единую, нежную мелодию, которой оба — и Борис, и Тамара — беззвучно пользовались как инструментом любви и страсти. В ласках своих они словно пели друг другу сокровенную песню сердца. Время отмерялось жарким боем в висках и петушиными криками звонких кочетов, мирно дремавших до поры в синих сумерках деревенских подворий.

Борис тайком-таки добрался до нотной бумаги. Как-то поутру он проснулся в радостном, счастливом настроении. Тамара уже полола огород вместе

с бабой Наташей. Толстое, румяное солнце сидело, как рыжая кошка, на заборе дальней рощи.

Борис достал клетчатый, похожий на шахматную доску, чемодан и извлёк из него нотную тетрадь, перевернул обложку и посмотрел на чистую разлинованную страницу. Сильная, как упругий ветер, мелодия шумела в его голове ещё с ночи. Но она летела не от леса и поля, не от цветочного луга и реки; она спускалась откуда-то сверху, с горних высот, от той ясной звезды, что ещё бледнела в глубоком небе поодаль от проснувшегося, умытого солнца. Она несла в каждой ноте и запах тёплой хвои, и лёгкий шёпот берёз, и травяной шорох дождя, и закатный свет пурпурных облаков. Слетевшая музыка содержала в себе всё пережитое: счастье побед, горечь изгнания, боль, опустошение, одиночество, жажду любви и смерти.

Борис ощутил всё это сразу, содрогнулся, как от озноба, ибо то, что он почувствовал и услышал сейчас, необходимо было вынести на чистый лист бумаги. Он же, этот лист, сияя дразнящей белизной, был заведомо гениален. И Борис испугался. Испугался собственной растерянности. С ним никогда такого не случалось. Конечно, он сочинял прежде и пьесы, и песни, и композиции, но то, что слышалось нынче, казалось объёмнее, значительнее, строже и веселее.

Борис взял карандаш, но коснуться бумаги всё не решался. Он откинулся на стуле и замер. Музыка невидимой бархатной птицей летала под самой крышей. Он, как чуткий охотник, притаившийся за кустом, напряжённо слушал мелодию, боясь спугнуть хоть одну ноту. Наконец сверкающая серебристым огнём птица уселась на отбелённую деревянную прялку и требовательно взглянула на музыканта опаловым глазом. Борис очнулся. Он коснулся бумаги и начал жадно записывать, выносить на тонкие нотные строчки всё услышанное. Сладкое упоение охватило его. Чёрные точки нот, перехваченные стремительными штрихами, то резко взлетали вверх, то падали вниз, утверждая ниспосланную кем-то музыкальную тему. Кто посылал её, кто одаривал, было понятно, и это понимание окрыляло, оно-то и давало ощущение высшего блаженства. Нездешнее единение с тем щедрым Дарителем, имя которому — Бог. Впервые Борис так жарко и так явно ощутил близость мирового пространства, сплетённого с цветистыми красками родной земли. Фосфорический сонм роящейся звёздной мглы вбирал в себя нечто загадочное, праздничное и в то же время туманное, непостижимое и потому печальное. Всё это клубилось и пылало огненными соцветиями в распахнувшихся настежь окнах слуха. Бориса ударила, обожгла чья-то мощная, как молния, сияющая энергия, и он, не выдержав крика сердца, уронил на страницы нечаянные слёзы счастья. Это была гроза, гром, ужас бешеного бега под чугунными тучами вместе с радостью ощущать на себе первые капли дождя.

До этого момента музыкант-Борис, исполняя чужие произведения, конечно, испытывал светлые, яркие минуты восхищения тем или иным композитором. Однако постичь во всей глубине, что значит создать самому, услышать всем существом, ощутить в себе горячую кровь Бога и в счастливом страхе понять: именно эта кровь проливается на страницы, Его страницы, вот этого всего Борис, конечно, прежде не испытывал. Теперь он это знал. Теперь он знал, что есть высший труд, рождённый вдохновением, той властной силой, которая именовалась творчеством. Она, как гружёный товарняк, проносилась мимо, грохоча и железно вздрагивая на стыках новых озарений, обдавая раскалённым дыханием огненной лавы, чтобы, пролетев, будто ураган, оставить слуху тишину, шёпот травы и щебет высокой птицы. Все сие и был Бог. И данное Им. И Жизнь. И счастье. И слава. Падение. Любовь.

Борис оторвался от исписанных страниц в счастливой усталости. Откинулся на спинку скрипучего стула, осознав вдруг, что работа только начинается, а всё происшедшее — космический зов, протянутая сверху, бесплотная рука, перламутровый остров в синем океане, серебряный крест, провисший в небесах.

Солнце стояло уже высоко. Пуховые облака лёгкой чередой вселенских невест тихо плыли мимо распахнутого окна. По извилистым морщинам старого

подоконника задумчиво двигалась божья коровка. Красное платьице в чёрную крапинку. О чём она думала? Какую слышала музыку?

Внизу напевно заскрипела половица. Борис вдруг заметил, что стал всему придавать особое значение. Раньше просто осязал, чувствовал, слышал. Теперь же окружающее наполнилось особым, светящимся смыслом. И восторженный вскрик половицы, и нарядная божья коровка, и трещины на старом подоконнике говорили другими, новыми голосами, в которых слышался музыканту неведомый ранее, глубинный хор жизни.

Борис поднялся, подошёл к окну и, сплетя руки за головой, вдохнул свежий, юный запах утра.

— Как хорошо! — очарованно произнёс он и вдруг снова услышал звуки мелодии, продолжение того, что записывал. Точно ужаленный, уже не раздумывая ни о чём, Борис бросился к столу, ибо с тревогой и страхом понял: дарованное свыше так же текуче, как далёкие облака в голубых небесах.

Тамара застала мужа сидящим за столом, с упавшей на руки головой. Он рыдал. Плечи вздрагивали. От этого вздрагивала старинная китайская статуэтка. И качала головой. И вздрагивала авторучка на очередной испи-санной странице. Повсюду: на столе, на полу и на подоконнике были разбросаны засыпанные мелкими нотными знаками свежие листы.

Тамара бросила на диван принесённый с поля пышный букет и подошла к мужу. Она, конечно, поняла: он начал работать, но что вызвало трагические слёзы, ей понять было трудно. А точнее сказать, невозможно.

— Ну, что ты, Лапа? Что ты? — нежно теребила она волосы Бориса, испытывая щемящую боль. — Перестань, а то я сама заплачу.

Борис повернул к ней мокрое лицо и, не стесняясь влаги на щеках, жарко заговорил:

— Представь, Лапуля, я никогда не знал, что такое настоящее счастье. Ты — это другое. Земное, осязаемое, реальное, близкое. Ты — это прекрасно! Это любовь. Радость встреч. Тоска расставаний. Огонь и прохлада. Цветы, ветер. Страсть, нежность, ласка — всё это ты. Единственная, очаровательная, волшебная, неповторимая. Но счастье!.. Даже там, в Нью-Йорке, помнишь? Когда у нас был потрясающий успех. А потом в Париже, Риме, Токио. Нам казалось, мы счастливы. Обожаение, деньги, шикарная жизнь. Весь мир под ногами. И всё же то не было счастьем. Я это понял вот здесь, за этим дубовым, допотопным столом. То была слава. Её сладкий яд. Шипенье шампанского и парчовая змеиная кожа на плечах полуобнажённых женщин. А слава, как сказал поэт, — “лишь яркая заплата на ветхом рубище певца”. Нет! Счастье здесь. За этим шатким столом. В тиши затерянной, убогой деревни. Убогой, но чистой и святой. Все почему-то понимают Достоевского буквально. Да, красота спасёт мир. Она критерий и мерило. Но что за этим стоит, мало кому приходит в голову. Когда-то давно, ещё на первом курсе консерватории, я натолкнулся в “Фаусте” на одну фразу. Там, у Гёте, есть персонаж — ведьма Фаркиада. И вот она говорит: “Стара и всё же не стареет истина, что красота не совместима с совестью”.

Тамара улыбнулась, видя творческий запал во всём состоянии мужа, и, ласково погладив его по щеке, отошла к цветам. Их нужно было подрезать и поставить в вазу.

— Так вот, представляешь, Лапуля, — всё больше распалялся Борис. — “Красота не совместима с совестью”. Можешь ты расшифровать сию мудрость?

Тамара прервалась, перестала орудовать ножницами, немного подумала и, наконец, сказала:

— Не знаю, Лапа. Честно сказать, не знаю. Так, сразу, не донырнуть. Это какая-то глубинная мысль.

— Вот! — обрадовано воскликнул Борис. — Я носился с этой фразой, как дурень со ступой. К кому только ни приставал. И к друзьям, и к преподавателям, и к профессорам. И все либо витали в облаках, упражняясь в софистике, либо так же пожимали плечами. Прошло несколько лет. И вот однажды, гостя у школьного друга в деревне в Тверской губернии, — там

у него жили родственники, — я сидел под вечер на опушке леса вместе с другом, Олегом, и местным пастухом, таким, знаешь, неказистым с виду мужичком, всю жизнь прожившим возле скотины среди поля и леса. Помню, очень живописно заходило солнце и густо, ароматно пахло клевером. Золотое поле, золочёные верхушки сосен и налитое горячей медью озеро. Сидим, закусьваем. Грибы, сало, мокрый лук. Бутылочка, как водится, при нас. Болтаем о том, о сём. И вдруг мне показалось, как-то мудро разговаривает этот пастух. Я возьми и спроси у него, мол, как ты, Егорыч, расшифруешь такое философское слово, что “красота несовместима с совестью”? И вот этот самый Егорыч, ни минуты не размышляя, отвечает: “Чего ж тут расшифровывать? Вон, гляди, красно солнышко, лес синий, озеро с карасями. Красота всё это. Красота от Бога. Святая. Безгрешная. А совесть всю жизнь бьётся в искуплении. Ибо там не то сделал, тут не так ступил. Опять чего-нибудь нарушил. И выходит тебе, что красота беспорочная несовместима с совестью”. Вот такое, мол, получается расшифрование. Словом, Лапуля, одним росчерком народный мудрец Егорыч всё поставил на свои места. Открыл то, что не могли открыть профессора. Поэтому, я думаю, Фёдор Михайлович под красотой, конечно, имел в виду, в первую очередь, святость, чистоту и безгрешие, присущие истинной красоте. А понял я это здесь, в этой комнате, когда записывал то, что скатилось на меня с небес. Видишь, какой тут божественный кавардак, — указал Борис на разбросанные страницы. — Всё это счастье. Это работа. И я доведу её к осени до конца. Для меня это очень важно, Лапуля. И серьёзно. Ответственно. В этом, может быть, смысл жизни. Понимаешь? Может, и лучше, что Степанов репрессировал нас.

— Может быть, — туманно согласилась Тамара. Она принесла вазу, поставила в неё букет, расправила для большей прелести цветы и спросила в никуда:

— Почему нам Господь не даёт детей?

— Что? — спросил Борис, разглядывая последнюю страницу.

С этих пор всё в доме переменилось. Внешне перемена казалась вроде бы незаметной. Всё шло своим чередом. Женщины, встречая солнце, копались в огороде. Неспешно бродили по двору, поклёвывая почву, куры. Гремела цепь колодца. Лаял на кого-то дурковатый пёс Жора, прозванный так из-за своего хронического крокодильего аппетита. Но всё стало приглушённое, тише, осторожнее потому лишь, что теперь с раннего утра и до позднего вечера в скрипучей комнате второго этажа сидел Борис и, ловя из воздуха музыку, помещал её на нотную бумагу.

Работать композитору без инструмента весьма непросто, а порой и вовсе невозможно. Однако у Бориса был, что называется, абсолютный слух. Но при этом ему нужна была хотя бы относительная тишина. Тамара, разумеется, это понимала, и своё понимание сообщила всемирной старушке, бабе Наташе. Старушка трудно представляла себе, что можно выловить из атмосферы. И всё-таки, уважая тайные процессы от Бога, прониклась к Борису глубоким почтением за его немислимую деятельность, стала ходить, говорить и ворочаться тише, даже прекратила храпеть по ночам.

Борис, несмотря на отсутствие инструмента, работал пылко, с упоением и восторгом оттого, что в мире существует некий, никому не видимый кокон, из которого рождается чудесная бабочка — музыка, и ему, Борису, дозволено эти священные роды принимать.

Отныне он бегал по утрам не для праздного удовольствия с рыбалкой и пространным наблюдением за деревенскими мальчишками. Но вдали всё же виделись травянистые призраки Мусатовских нимф, а где-то время от времени всыхивал кнут погонщика-пастуха. Теперь Борис, наскоро омывшись в озере после галопы по бархатно-пыльной дороге, торопился, как воробей, под крышу, к заветному столу, где в одно мгновение всё сущее отлетало прочь, а мир превращался в гармонично звучащее пространство, которое следовало лишь аккуратно переносить на бумагу.

Всемирная старушка строго наказала бестолковому Жоре: “Ты, Антихрист, изыдь в будку и сиди в безмолвии. Не то я тебя, дурака, доской

заколочу навечно. Тявкаешь на каждого жука без всякой мысли. А тут люди музыку делают”.

Иной раз, правда, главная мелодия давала работе перерыв. Что-то у них там случилось наверху. Какая-то большая перемена. Звуки вымирали, и как Борис ни старался, ни одной ноты достать из небесного омота не мог. Тогда, разумно понимая такое положение, он собирал написанное, благоговейно складывал листы в пухлую стопку и шёл в поле или в лес, где сердце его наливалось дополнительным восторгом от вида живых, тепло дышащих цветов, ветреного шума листвы и озабоченных голосов птиц, уже кормивших потомство.

Борис садился на пенёк и рассматривал траву, пытаясь услышать и её звучание, наблюдал шевеление муравейника, который тоже пел свою трудовую песню. Неожиданно в этот разноголосый хор вклинивался скрип берёзового ствола, начинал выстукивать однообразно музыкальное соло дятел, и пела в чаще свою милую арию кукушка.

Вечерами, тёплыми, прекрасными вечерами, когда после захода солнца стихали птицы и начинали, может быть, от скорби по Светилу нежно и печально пахнуть цветы, щедро рассаженные повсюду всемирной старушкой, Борис в счастливой усталости спускался в сад. На столе, покрытом белой, вышитой по краям скатертью, уже стоял зеленовато-медный самовар со слабыми отблесками на боках последней алой зари. Под голубыми звёздами они усаживались за нарядный стол, и Борис, встретившись нечаянно со взглядом Тамары, с её лёгкой, обещающей полуулыбкой, испытывал новые токи, движение иной энергии, которая горячила кровь радостным предчувствием пылкой чудесной ночи.

Незаметно подкралась осень. Пожилая листва стала опадать под лучами усталого, безразличного солнца. Она тут же высыхала и хрустела под ногами. Пошли сначала лёгкие, потом затяжные дожди. Сад опустел, но провис яркими тяжёлыми плодами. Баба Наташа каждый день приносила по корзине влажных от росы, крепких грибов. Она их солила, мариновала, жарила и тушила. Весь дом пропах лесом.

Борис, наконец, поставил точку. Вывел на обложке первой тетради название своего сочинения — “Сад” — и откинулся со вздохом облегчения на скрипучем кресле. Разумеется, работа была ещё далека от завершения. Но основное казалось сделанным. Две части симфонии лежали на столе. Ещё можно было что-то добавить, поправить в закрывшихся тетрадах, но пришло опустошение. Счастливая усталость, какая, видимо, бывает у женщин после родов. Впервые за все время Борису захотелось выпить. Но он отогнал и мысль об этом, и желание прочь. Нужно было собираться в дорогу. В Москве же предстояли встречи с издателями, музыкантами, руководителями оркестров. Требовалось выглядеть так, как выглядел Борис к исходу лета: гладким, посвежевшим, с атласной кожей лица и светлым, спокойным блеском глаз.

Уже хотелось новизны. Музыкальных новостей, столичного шума, толкотни в кулуарах, концертов, грохота аплодисментов и даже сплетен. К тому же Борис с Тamarой привыкли к перелётам, переездам, смене мест и обстановок. Но в то же время до боли жалко было покидать места, так ярко одарившие их счастьем, вдохновением и любовью.

Баба Наташа тяжело загрустила. Она подходила к окну, упираясь локтями в подоконник и подолгу наблюдала, как гоняет ветер по дороге сухие, дурашливые листья или уходят в пелену мутного дождя землистые деревенские избы. Говорила она теперь совсем мало. Даже весёлую новость о том, что соседский козёл покрыл овечку, а та, как ни в чем не бывало, принесла двух ягнят, поведала она, не улыбувшись, так, словно это было вполне рядовое событие.

Вечерами она, помельчавшая в последние дни телом, усаживалась с вязанием к столу. На ней постоянно был чёрный, в красных цветах, тоже, видимо, всемирный платок. Как-то, не глядя ни на кого, баба Наташа грустно спросила:

— Адрес-то хоть оставите?

Тамара поспешила успокоить её.

— Не то помру, — объяснила всемирная старушка. — Чтоб соседи знали, куда телеграмму отбить. Они-то похоронют, но вдруг и вы захотите поцеловаться на прощание.

Смотреть на бабу Наташу, конечно, было больно. С отъездом Тамары и Бориса она оставалась совсем одна. Муж умер давно. Два сына погибли на восточной границе. Дочь осела где-то в Штатах, даже не сообщив координат. Тамара с Борисом, как могли, утешали беспокойную старушку, которой о ту пору стукнуло, слава богу, восемьдесят семь годков. Но утешения утешениями, а час разлуки наступил. Баба Наташа выволокла из-под подпольного погребца, ударившего всех могильной сыростью, кучу банок с соленьями, вареньями, приправами и, несмотря на яростное сопротивление Тамары, затолкала банки в сумку, которая тяжёлой ношей легла на плечи Бориса.

Выйдя заранее, они долго ожидали маленького деревенского автобуса. Прохладное солнце серебрило волосы всемирной старушки. Борис подумал, что в его “Саду” наверняка есть и её голос. Радостным, жизнеутверждающим лучом блуждает он где-то среди прочих звуков. Старушка была задумчива, но светла и беспечальна.

— Что тама, интересно, за тем окоёмом? — спросила она.

— За горизонтом есть другой, — туманно ответила Тамара.

— Другого нет, — убеждённо ответила баба Наташа. — Это кажется, что он есть. На самом деле — черта только одна. Понимаешь такую глупость?

— Смотрите, — сказал Борис. — Вон тот жучок на дальней дороге — наш автобус.

— Ну, — весело сказала баба Наташа. — Храни вас Господь!

Она поцеловала Тамару с Борисом сухонькими губами и обратила прищуренные в сетке морщин глаза к неяркому, усталому солнцу.

Московская квартира встретила хозяев застоявшимся запахом пыли, обойной бумаги и линолеума. За окном моросил мелкий, сонный дождь, словно шептавший: “Всё, ребята. Счастье кончилось”. И сразу явилось печальное ощущение, будто никуда не уезжали, и никакого чудесного лета не было вовсе. Однако властная энергия деревенской жизни ещё жарко питала каждого, а потому, коротко взгрустнув, стали разбирать вещи.

Вечером, когда Тамара белым привидением удалась в ванную, Борис выключил все электроприборы, источавшие звук, решив выявить, чем отличаются московские каналы связи с Дарителем от деревенских. Он долго настаивался на волну, прислушивался, но, кроме какофонии, визга, рычания и железного стука за стеной, ничего выявить не смог. Каналы столицы сплошь были забиты звуковым хламом и мусором.

Борис с нежностью провёл рукой по своим тетрадам, храня в душе ласку воспоминаний о травах, птицах и цветах глубинной родины. Сейчас ничего не было дороже этих воспоминаний. Даже экзотика дальних странствий казалась в сравнении с этим мелкой и пустой, так... Сувенирные погремушки. Чего-то дорогого сердцу в них не ощущалось. Борис пожалел всех городских композиторов и поразился мужеству и стойкости этих людей.

Следующий день он посвятил тому, что ещё раз, теперь уже с баяном, прокатился по своим записям и, не найдя в них ничего, кроме радости былого контакта с Создателем, подарившего ему столько звуковых соцветий, к вечеру осторожно, словно боясь кого-то спугнуть, закрыл последний нотный альбом. У него было ощущение, словно он только что видел радугу над парным озером возле дома всемирной старушки, и она, эта радуга, всё ещё сияла в воображении всеми цветами спектра.

Борис снова услышал вкрадчивый шум листьев, бархатный шёпот трав, безудержный грохот ливня и оглушительный, рвущий небо на части треск молнии, а затем властно строгий рокот грома, услышал серебряно-тонкий перезвон крупных, как яблоки, звёзд, которых никогда не было, да и не могло быть в городе. Услышал те близкие сердцу звуки, какими наполнились его душа и нотные тетради.

Поутру Тамара достала дорогой, купленный в Париже, костюм супруга, выгладила рубашку и галстук. Борис преобразился. В деревне он ходил в старых спортивных штанах, при надобности — в фуфайке и сапогах. Да что говорить — ходил часто голым до пояса и босиком.

Он ехал в метро с лёгким ощущением того, что создал хорошую вещь, что в его кейсе помещается талантливое произведение, и ему везде должны быть рады. Правда, число мест, где должны быть рады произведению для народных инструментов, в последнее время резко сократилось, но всё же Борис надежды и оптимизма не терял. Он заехал в канцелярскую контору, сделал несколько копий своего создания и развёз нотные папки по известным по прежней памяти адресам. Были встречи со старыми друзьями, воспоминания студенческих лет, сожаления о том, что так нелепо закатилась его звезда. Отгремел краткий, ничего не означавший праздник в кафе и обещания как-нибудь помочь. Но говорившие сетовали на то, что сместились музыкальные ориентации, родились иные акценты, и вообще музыка стала другой, повесив на себя цветистую табличку: “Шоу”. Однако друзья призывали не вешать нос, что написал, то написал, и обещали что-нибудь сделать. Однако, возвращаясь домой, Борис вёз в себе тупую, ноющую тревогу. Почти все приятели имели вальяжный, респектабельный вид приспособленных конъюнктуристов. Их слова звучали уважительно, но лживо. В речах товарищей, к неожиданному удивлению своему, Борис улавливал даже некое скрытое злорадство: вот, мол, слетел по собственной глупости на полном скаку с белого коня — теперь ковьялай позади всех на старой кляче до конца дней своих.

Борис знал, никуда не денешься, таковы волчьи законы больших городов: Нью-Йорка, Лондона, Парижа, Москвы, но всё же верил, что палитра, которой одарил его Господь в глубине родины, сделает своё дело. Клавиры он разослал. Оставалось ждать.

Остаток осени Борис с Тамарой проводили на Крылатских холмах. В погожие дни спускались к гребному каналу, наблюдали чёрную, холодную воду осенней реки да рваные пепельно-синие облака, постоянно грозившие близким дождём. Когда дни заволакивало долгой, туманной моросью, Тамара садилась за фортепиано и снова, в который раз проигрывала отдельные части из сочинения Бориса.

— Ах, Лапа, — восторженно вскрикивала она иногда. — Какой тут у тебя получился изумительный переход. По стилистике, по мысли, по работе на основную тему. Так вкусно. Пальчики оближешь.

Борис не мог не признаться себе, что тает от этих слов. За ними виделся восторженный зал, свет рампы. Аплодисменты. Цветы. Но иногда Тамара останавливалась, некоторое время сидела в раздумье и вдруг говорила:

— А вот здесь я бы сыграла иначе, Лапа.

Тогда Борис стремительно вскакивал, подлетал к пиюитру и горячей, нервной скороговоркой произносил:

— Нет, Лапуля. Ты ничего не понимаешь. Здесь должно звучать именно так, как написано.

— Ну, хорошо, Лапа. Хорошо, — обиженно соглашалась Тамара. — Что ты так раздражаешься? Никто не собирается тебя перекраивать. В конце концов, это твоё дитя. Ты и мать, и отец. Просто я высказала своё мнение. Могу я иметь личное мнение? Я бы сыграла, например, вот так.

— Нет! Нет! И ещё раз нет! — упрямо сопротивлялся Борис. Однако ночью, когда Тамара уже спала, подкрадывался на цыпочках к нотной тетради и исправлял исписанные листы, как советовала жена. У Тамары был отменный музыкальный вкус.

Потянулись долгие дни ожидания. Чтобы как-то убить время и не увязнуть в тоске хмурых, как осенние тучи, предчувствий, ходили в Третьяковку и Пушкинский, ездили в Архангельское, Абрамцево, Воронцовский и Шереметьевский дворцы. Не говоря уж о храмах и монастырях. Вечерами Борис с Тамарой старались попасть на лучшие симфонические концерты, не обходя, впрочем, ни джазовых, ни эстрадных.

Попутно Борис закидывал сети насчёт работы, замечая, как стремительно тает золотая кубышка их накоплений. Но с работой было туго. Каждый

раз, когда об этом заходил разговор, Борис чувствовал себя человеком, попавшим в липкую паутину. Нет, она, конечно, была, работа. Можно пойти баянистом в Дом культуры или даже преподавать курс баяна в музыкальной школе. Но для Бориса после Степановского оркестра подобные работы были оскорбительно низкооплачиваемы.

Примерно через месяц Борис стал звонить. Смущались, хвалили, но кричали, что воплощение произведения в жизнь пока не представляется возможным, симфония несовременна, родилась в другой музыкальной плоскости. Эта ахинея не укладывалась в голове. Что значит, “несовременная симфония”? Разве шум дождя, рокот грома или шелест листьев может быть несовременным? А запах цветов, щебет птиц, таинственные голоса ночных бабочек относятся к какой-то иной музыкальной плоскости? Чуть! Борис, однако, решил не отчаиваться, поскольку то были первые, не самые важные отзывы. Остальные рецензенты просили ещё немного подождать.

Наконец, его пригласили на беседу в оркестр, на который он полагался больше всего. Дирижёр, подтянутый пожилой человек с седою, аккуратной бородой, очень подробно и профессионально разобрал произведение. В результате похлопал Бориса по плечу и сказал, протягивая тонкую, холёную руку с золотым перстнем:

— Вы, Борис Борисович, талантливый человек. Поздравляю. Вещь получилась замечательная. Всегда знал, что Россия никогда не оскудевала и не оскудеет истинными талантами. Но, к сожалению, сейчас я не могу включить ваше сочинение в свои планы. Над ним нужна ещё серьёзная работа, репетиции. А мы через неделю уезжаем на гастроли. Надолго. Так что... — Руководитель оркестра развёл руками, но при этом тепло улыбнулся. — Загляните через пару-тройку месяцев. Возможно, что-то прояснится. Кстати, мне звонил Григорьев Жёня, ваш сокурсник. Он в восторге от симфонии. У него есть какие-то конкретные предложения. Правда, он работает в эстраде. Но это, я думаю, ничего не меняет. Свяжитесь с ним. Может быть... Чем судьба не шутит?

— Спасибо, — сказал Борис. — Господь не зря придумал надежду. Она всегда греет. Впрочем, бывает, напрасно.

— Не отчаивайтесь, — улыбнулся дирижёр. — Ваша вещь не пропадёт.

Жёня Григорьев встретил Бориса у себя дома с распостёртыми объятиями:

— Ну, Боб, ты скотина. Где ты, подлец, пропадаешь? Мы тут, можно сказать, блины печём на воде, а он залез в какую-то деревню и творит. Творит! Нет, Боб, я не спорю. Ты гений. Гений! Не возражай. Особенно вторая часть у тебя, вот эта темка: ду-даб-даб-ду, бда-бда. Проходи. Садись. Коньяк, виски? Ты не представляешь, я зашиваюсь на пошлятине. Бездарности смердят вокруг, как трупы. А у тебя — родниковая вода. Девичьи какие-то напевы. Чистота, свежесть. Ей-богу, я плакал, когда играл. Ну, не сволочь ты, скажи? Публика задыхается от яда и копоты. Музыка пахнет Чернобылем, Чечней, а он сидит себе и чистит цветные перышки. Нет, таких, как ты, Боб, надо убивать и посыпать известью. — Жёня выхватил из пачки сигарету. — Писать гениальные вещи и скрываться! Ну, не гад? Гад самый натуральный. Дай я тебя поцелую.

Борис сидел в смутной тоске и меланхолически улыбался. Жёня Григорьев говорил, не умолкая. Впрочем, сколько его помнил Борис, он всегда говорил, не умолкая.

— Ты, Боб, себе не представляешь, как трудно сейчас с хорошими вещами, — продолжал Жёня, запахивая полы халата. — У тебя же этих хороших вещей — кладезь, сволочь ты такая. У меня всё есть: студия записи, исполнители, аранжировщики, текстовики. Нет только хороших вещей. Тебя, одним словом, нет. Между прочим, помнишь Дашеньку Медынскую, вокалистку? Она недавно приехала из Омска. Какая женщина стала, я тебе доложу! Неделю мы тут с ней радовались встрече. Да. Ну, в общем, у меня к тебе такое предложение. Даже не спорь. Разбиваем твоё сочинение на небольшие части. По темам. Я приглашаю текстовика. Есть у меня один



прыткий парнишка. Делаем целый концерт для любого исполнителя. Всем хорошо. Все в шоколаде.

— Не понял, — сказал Борис. — Что значит “разбиваем”? И кто такой текстовик? Это теперь так называется поэт?

— Ты знаешь, что, Борис, — поморщившись, сказал Женья. — Ты в своей деревне натурально оброс мхом. Тебе надо ходить с чёрным зонтиком и в калошах. Да, текстовик — это поэт, если хочешь. Разве принципиально? А разбиваем сочинение потому, что целиком, да ещё в народных инструментах, ты его нигде сегодня не реализуешь, дурак неизлечимый. Народные мотивы обязательно оставим. В них-то, как раз, изюминка. А всё остальное, Боб, послушай меня, нужно делать так, как я говорю. Я на этом уже, честное слово, трёх собак слопал. Давай, дружище, соглашайся. И начинаем работать. Хочешь, можем рок-оперу сварганить. Хоть это и сложнее.

Борис тяжело поднялся.

— Разбить, как ты говоришь, цельное сочинение, значит, обратить его в пепел. Расчлени ты на части “Утро стрелецкой казни”. Или “Явление Христа”... Разруби Бетховена, Баха, Чайковского... Что будет? Эскизы. Фрагменты. Но цельное, то, что остаётся в веках, исчезнет, Женья. Без цельного пропадает гармония. Отлетает душа. А без души и появляется то, что ты выпускаешь в своей студии грамзаписи вместе с прытким текстовиком. Дай мне мои тетради, и я пойду к чёртовой матери. Никогда, даже на краю могилы не соглашусь я разбить, как ты говоришь, на части то, что так бережно собирал воедино, что благословил Господь и что дорого сердцу, как ничто другое. Опять же — текстовик! От одного этого слова меня тошнит и выворачивает. Так, не ровен час, и Пушкина кто-то назовёт текстовиком. Почему бы нет? Поют же романсы на его стихи. В общем, неси тетради. Я пойду. Крайне приятно было познакомиться с новым Евгением Григорьевым, — съязвил Борис. — Я помнил тебя совсем другим.

Женья вздохнул:

— Я так и знал, Боб, что у нас ничего не выйдет. Ты всегда был идеалистом. Им и остался. Но сегодня романтики-идеалисты вымирают, как мамонты. Оглянись вокруг. Тут не деревня. Тут другая жизнь, Боб. Впрочем, я тебя не осуждаю. Даже завидую. Белой завистью. Ты сумел не замараться. Дай Бог удачи. Будь настойчив. Бейся во все двери. Разбей себе лоб, руки. Только так чего-нибудь добьёшься. Твоя вещь, конечно, должна звучать с большой сцены. Во всем объёме. Не думай, я всё понимаю. Не забудь пригласить на премьеру, — сказал Женья, вынося Борису его нотные тетради. — Прощай. Но если надумаешь... Или прижмёт...

В остальных местах Бориса так же хвалили, но для воплощения в жизнь его произведения называли громадные суммы, которые требовались на оплату музыкантов, оркестровку, аренду залов и прочее. У Бориса с Тамарой таких денег не было. Работу тоже никто предложить не мог. В любом оркестре был комплект.

Встреча и разочарование в последнем месте, на которое, правду сказать, уже мало надеялся Борис, поставили точку в его дальнейших походах. Он вдруг почувствовал, что никому со своей симфонией не нужен. Все тетради, полные солнца, тепла, шепота трав, цветов, грозы, любви и печали, могли лететь по ветру или набираться пыли на деревянных полках. Ворвалось время бездарных мелодий, мещанских соцветий и дешёвых, пустых текстов, то бишь стихов. Притом Борис не был ханжой. Он любил джаз, рок, достойную эстраду, но не безликие, водянистые суррогаты, подменявшие и то, и другое, и третье.

Борис вышел из здания, где состоялась его последняя встреча, где рухнули оставшиеся надежды, где его проводили тусклыми улыбками сожаления, как провожают клоуна, завершившего грустную репризу.

Стоял сухой солнечный день — предвестник близких холодов и окончания осени. Ночами уже подмораживало. Об этом говорили по утрам листья, впечатанные в стеклянные лужи.

Борис бесцельно шёл по Тверскому бульвару, не ведая, что теперь ему делать и как дальше жить. Люди теньями обтекали его, торопились по своим

делам, шуршали разбитым ледком машины, а Борис двигался в неизвестную даль. Что скажет он Тамаре? Как вынесет её взгляд, полный жалости и тоски? Ему вдруг остро захотелось в ту далёкую деревню. В обитель всемирной старушки, бабы Наташи, где был он так незабываемо счастлив от своего слуха и творчества. Где любовь окутывала их с Тамарой, как запах цветов и шум дождя, где целая вселенная спускалась по его руке на нотные страницы, где сам Орфей по наущению Господа пел ему те мелодии, которые он нёс сейчас в бесполезном, никому не нужном портфеле.

Как сомнамбула, не замечая никого и ничего вокруг, Борис спустился в метро, доехал до Крылатского, терпя какой-то надсадный гул в голове и, выйдя наружу, остановился в раздумье возле “родного” магазина.

Ярко и радостно сияло солнце. Люди, озарённые прозрачным светом, казались весёлыми и беспечными. У палатки молодёжь шумно пила пиво, сверкая золотыми бликами на бутылках.

Борис почувствовал тупую боль в сердце. От лёгкой всеобщей радости ему вдруг стало до отвращения тошно, будто весь этот напичканный народ шёл в этот яркий день мимо его умершего ребёнка, не замечая и даже не желая замечать ни горя, ни скорби родителя. Люди, облаканные дневным теплом, шли по своим делам с покупками и без, застёгнутые и распахнутые, с обнажёнными по поводу солнца причёсками. Никому, конечно, и в голову не приходило, что в портфеле одиноко стоящего человека лежат обугленные нотные тетради, а сам он, этот человек, насмерть замерзает от нестерпимой тоски и обиды.

Ладно бы, сказали, что его произведение не удалось, что это плод досужего ума и слуха, что оно — просто пустая, бездарная меломания. Так нет же! Взахлёб и, кажется, искренне хвалили. Но на самом деле сочинение Бориса оказалось никому не нужно. Похоже, ни в настоящем, ни в будущем. Сам сатана смеялся ему в лицо в какой-то бешеной, дьявольской карусели.

Борис потоптался на одном месте, ибо его посетила мысль о том, что, может быть, стоит зайти в церковь, помолиться, послушать вещее многоголосье хора и тем утешиться, развеять печаль. Но мысль эта оказалась далёкой и слабой, как ранняя звезда.

Продавщицы значительно переглянулись, оценив respectable вид знакомого музыканта, его голландское чёрное пальто, белую рубашку, галстук, кейс, и одна услужливо подалась навстречу. Борис, стараясь не смотреть на девушек, купил бутылку коньяка и спешно вышел на улицу. Кто-то неведомый подтолкнул его в спину мимо своего подъезда. Войти в дом к любимому, близкому человеку с печатью неудачника, к человеку, ради которого, честно говоря, Борис писал то, что написал, он сейчас после всех огорчительных встреч и свиданий был не в силах.

Борис спустился вниз, к Крылатским холмам, к святому ручью, лёгким, переливающимся голосом своим напоминавшему тот дальний, деревенский, и присел на пустынную лавочку. Неподалёку, у источника, толпился в очереди народ, наполнявший бутылки, фляги и канистры драгоценной влагой. Борис отвернулся от публики. Ему сейчас нужно было побыть одному. Он сел спиной к очереди, лицом к храму.

— Чем же я прогневал тебя, Господи?! — спросил Борис, глядя на голубые церковные стены. — И ты, Дева Мария, почему не заступилась, не помогла, не защитила то, что исходило от Ваших пределов? Или правду говорят, что наступил век Антихриста?

Но ответа он не услышал. Тихо и прощально, благостно сияло солнце, ярко, до боли в глазах, горели в синеве неба церковные кресты. Маленький человечек, ловко подпрыгивая, спускался по тропинке с вершины холма.

Борис ощутил вдруг абсолютную пустоту в голове, в сердце, во всём теле. Пустоту и полное безразличие ко всему. Он откупорил бутылку и отхлебнул из неё добрый глоток. По телу покатились тёплая волна. Горячий туман стал обволакивать и слух, и мысли, и зрение. Церковь с сухим шелестом чуть накренилась вбок, накренились кресты, и Борис неожиданно увидел, что мимо золотых крестиков тихо проносится маленький, серебряный, за которым тянется тонкий белый шлейф, обшитый по краям тонкой кружевной бахромой.

Он так обрадовался самолёту, словно вернулся в детство, когда, случалось, лежал на горячей крыше и с восхищением наблюдал летевшую под облаками крохотную машину. На какие-то минуты Борис забыл обо всех болях и обидах. Он представил себе лётчика у штурвала, и ему захотелось туда, в кабину пилота, чтобы взглянуть на всю плоскость мира сверху. Увидеть мелкие, рассыпанные по земле города, угадать их голоса и звуки.

Борис вспомнил, как, возвращаясь после успешных гастролей по Америке, они с Тамарой, молодые, красивые, удачливые, перелетали через океан. Сияло такое же яркое, беспечное солнце, и то ли два неба было в обозримом пространстве, то ли два океана — внизу и вверху. Казалось, жизнь не имеет конца и звучит одной долгой прекрасной мелодией. В согретой памяти всплыла красочная, будто никогда не засыпающая Бразилия с её чарующе весёлыми карнавалами, не знающими ни времени, ни условностей, ни стеснения. Тогда, припомнилось Борису, Тамара, выпив игристого вина, всё порывалась выйти на улицу в одном купальнике. В конце концов, она всё-таки вырвалась и чуть не потерялась, танцуя в толпе. Но там почти все были в таком одеянии, и на женщину в самом лёгком платье обращали внимание лишь постольку, поскольку это была пылкая, темпераментная и весёлая красавица. В то время Борис сам сходил от Тамары с ума и, глядя на неё, отплясывавшую под бой барабанов, вскоре забыл обо всех окружающих.

На волнах плотных воспоминаний и мыслей он перенёсся в недавнюю деревню, в гости ко всемирной старушке, мысленно обнял её и прошёл в цветущий сад, в безмолвно ликующий праздник весны. Он остановился посреди нежных бело-розовых яблонь и замер: все они вместо запаха источали звуки, стройные ряды его симфонии. Этого Борис вынести уже не мог. Он закупорил бутылку, спрятал её в кейс и стал усердно подниматься на вершину холма. Крутая тропинка струилась косо вверх среди пожухлой, ржавой травы, уже побитой ночными морозами. Ногам Бориса требовалось немало усилий, чтобы удерживать равновесие, но он с упрямым упорством взбирался всё выше и выше по направлению к храму. Однако перед дверью остановился. Войти в храм он не решился. Он осенил себя православным крестом и произнёс внутри себя произвольную молитву, в которой просил Бога помочь вынести сочинённую симфонию на большую сцену, поскольку все звуки и темы были продиктованы небом. В ответ Борис словно услышал голос, произнесший некое непроизвольное утешение. Удивлённый, он ещё раз осенил себя крестом и пошёл от храма прочь. В нём снова загорелась надежда, хоть он ей и не вполне верил. Мало ли что может послышаться?

Тамара сразу поняла, в каком состоянии муж и что с ним случилось, однако виду не показала.

— Раздевайся, Лапа. Мой руки. Будем ужинать, — сказала она неестественно весёлым голосом и быстро скрылась на кухне, чтобы никак не выдать своего смятения и растерянности.

Борис сразу обмяк. Ему всё мгновенно опостытело: и висевший на крючке халат, и домашние тапочки, и шляпа, попавшая в паутину вешалки. Это показалось глупым и пошлым. Но раздевшись, он прошёл в ванную, снял рубашку и облил себя для свежести холодной водой. Затем водворился к Тамаре на кухню, мрачно достал нотные тетради и початый коньяк.

— Сегодня, Лапуля, — с пафосом произнёс он, — состоятся торжественные поминки по лирическому музыкальному произведению Бориса Борисовича Ганина “Сад”.

Тетради с громким хлопком шлёпнулись на стол. Тамара, стоявшая у плиты, резко обернулась.

— Не смей так говорить! Ты не имеешь права. Ты только проводник того, что дадено было свыше, и не тебе хоронить рукопись. Твой “Сад” уже тебе не принадлежит. Понимаешь? Нельзя опускаться до такой степени.

— А до какой степени можно опускаться? — язвительно спросил Борис, искажившись в лице, словно Тамара одна была виновата в неприятии и холодном равнодушии к поющему “Саду” Бориса.

— Ладно, Лапа. Давай успокоимся, — сказала примирительно Тамара и обняла мужа. — Мы никогда с тобой не ссорились. Неужели теперь, скажи,

после того, как ты создал замечательную вещь, позволим себе такую глупость? Не поминки, а рождение... Почему бы нам не отметить рождение твоего, нет, нашего "Сада"? Я тоже, согласись, косвенно принимала участие. Ведь мы, Лапа, по-настоящему не праздновали это событие.

Она достала рюмки и накрыла стол. У Бориса начало быстро и горячо таять сердце. Защищало глаза. Он хрипло кашлянул и полез за сигаретами.

— Правильно, Лапуля. Давай праздновать. Чёрт с ним со всем.

Через некоторое время Борис с Тамарой весело вспоминали былые гастроли, всемирную старушку, её роскошные цветники и домового, который, видимо, от возраста всё охал по ночам, хрустел и поскрипывал при ходьбе. Потом Борис достал после долгого перерыва баян и стал играть. Тамара смотрела на мужа затуманенным взором и думала всё ту же сакраментальную думу о том, как было бы хорошо, если бы сейчас с ними сидел некто третий, маленький родной человек, который любил бы Бориса так же, как она. Вот так же слушал его музыку, восхищался и ценил его талант. Но за что-то Бог наказал... После первого неудачного аборта врачи признали, что Тамара больше не сможет беременеть, оставив ей горькую, далёкую, почти бесполезную надежду. Получилось, что и ребёнка они принесли в жертву международной цыганской жизни, гастролям, поездкам, свету рампы и дутой славе, которая оборвалась в один день. Тамара смахнула нечаянную слезу: она отдала бы всё на свете за то, чтобы почувствовать внутри себя священную тяжесть, услышать, как толкается и растёт под сердцем живое существо...

В полетевшие дни, не выходя из кухни, Борис при поддержке и участии Тамары представлял свою симфонию "Сад" на Миланской сцене и имел грандиозный успех. Иначе и не могло быть: зал наполнился глубоким и древним духом Руси, тем высоким божественным началом, которого в последнее время так не хватало Европе. Затем, не покидая кухни, уже знаменитые музыканты посетили Америку, ещё более, нежели Европа, нуждавшуюся в глубинной, астральной духовности. Так, во всяком случае, считали Борис с Тамарой. Америка, конечно, со свойственным ей деловым размахом предлагала выгодные контракты, выступления, турне, но Борис отказался буквально от всего, сославшись на то, что ещё не вся Россия погружена в его "Сад". А она-то уж, Россия, как никто другой обязана сегодня возродить истинно народную культуру, которой всегда гордилось Отечество.

— Всё! — решительно сказал Борис день на пятый. — Больше — ни капли. Что же получается? Сытый, благополучный Степанов со своей рыхлой, наштукатуренной женой победили? Нет, мы будем драться!

И сразу засел за телефон. Он обзвонил с десятков адресов и мягким своим баритоном — сама корректность и интеллигентность — договорился о встречах в разные дни. В разных местах.

Тамара только что проснулась. В длинной белой рубашке она была похожа на привидение, спорхнувшее с какой-нибудь далёкой звезды.

— Как-то душно стало, — сказал Борис и вдруг очень остро почувствовал собственное сердце, будто перехваченное тонкой стальной нитью. — Пойду, прилягу на пару минут...

Вскоре он открыл глаза и сначала не мог понять, где находится его тело. Оно лежало поверх белой, жёсткой кровати, над которой высился весёленький, с бликами солнца, высокий потолок. И стены тут были чистые, белые, стерильные. Укрывало Бориса плотное одеяло, одетое тоже в крахмальный и свежий пододеяльник.

Борис повернул голову и увидел ещё одну такую же стерильно тоскливую койку, а на ней — худощавого человека с небритым лицом и впалыми закрытыми глазами. Борис уныло осознал — больница. Огляделся. В палате — никаких излишеств. Ни радио, ни телевизора, ни холодильника, ни чего-либо ещё. Крахмальные стены и пол, пахнущий хлоркой. Тупо ныло сердце, но боль ощутимо вытекала из него, как из пробитой фляги. Значит, те ребята, которые мотались за рифлёной стеклянной дверью туда-сюда белыми тенями, сделали своё дело. Странно, Борис ничего не помнил, как если бы накануне был сильно пьян.

Небритый человек открыл глаза и, поглядев на Бориса, хрипло произнёс:

— Попали мы с тобой, старичок. Месяц провалиемся. Как пить дать.

Познакомились. Сосед имел редкое имя — Иван, артистично худые руки и тоскливо мечтательный взгляд синих очей.

— Да, — согласился Борис. — Похоже, тут у нас долгая станция.

— Хорошо, медицинский полис успел получить, — сообщил сосед. — Не то бы сейчас валялся неизвестно где. Моей мадам теперь наплевать, что со мной.

— Почему?

— Да так уж. Просто наплевать, и всё. Человек она такой. По жизни. Вернее, тут профессия наложила свой отпечаток. Судья. Это, брат, опасная штука. Для всех окружающих. Последнее время, правда, работала адвокатом. Это, кстати, меня и подкупило при знакомстве. Защитник — не судья. Сердце надо иметь другое. Душу. Но она, как выяснилось, судья по натуре своей. По призванию, можно сказать. А уж когда женщина — судья... Катастрофа. Власть опьяняет прекрасный пол больше, чем мужчин. Действия не подчинены рассудку. Впрочем, нужно признать, специалист она отменный, и если бралась за дело, а работала Светлана с крупными фирмами, организациями, то дело это, как правило, ею выигрывалось. Тут уж не отнять. Ну и, понятно, победа оплачивалась соответственно. Банкеты, фуршеты, рестораны, кафе... Ясно, являлась за полночь с повестями и рассказами. И всё это, заметь, заплетающимся языком. А мне каково! При том, что я не пил спиртного ни капли. Работал над книгой. Одним словом, назрел скандал. Впрочем, сам понимаешь, он не мог не назреть. Поскольку слушать пьяные бредни до четырех утра вряд ли кому под силу. Может, конечно, я был не прав. Не знаю. Возможно, у неё такая работа, что без банкетов нельзя. Нельзя потерять старых клиентов, нужно обрести новых. За бокалом, как сам понимаешь, всё это проще. Но моё положение! Разумеется, скандал. В результате все мои вещи — на лестничной клетке, потому что, не выдержав, я и сам, что говорить, напился до чёртиков. В сердцах трахнул какой-то вазой об пол. Через пятнадцать минут появился мордатый бульдог в милицейских погонах. Понятно, у неё же все в отделении — друзья. Вместе пьют, потом развозят друг друга по домам. Свои люди — судьи, адвокаты, милиция. Этот блюститель, пользуясь тем, что ответить я ему не мог: как же, он при исполнении, при форме... В общем, стукнул меня пару раз. Обычно, вроде бы, дело. Но нужно было видеть при этом глаза моей адвокатессы. Никогда я такого взгляда больше не наблюдал. Злое, сытое удовлетворение, хмельное самодовольство и тупое превосходство, словно она расстреляла злейшего врага — вот что было в этом взгляде. Таким образом, я отправился на все четыре направления. Жил у друзей, в мастерских художников, в подвалах, на чердаках. А теперь вот живу на этой койке. Что будет дальше — не знаю. Просто ума не приложу. Работа оборвалась. Как быть, не возьму в толк. Вот такая приключилась...

Борис, понятное дело, поведал и свою печальную историю. Как, прямо по-чеховски, вырубается его "Сад". Ну и, конечно, не смог не откликнуться на чужую беду.

— Что ж, — сказал он. — Если тебе, Ваня, некуда деваться, поживи у нас с Тamarой. В коридоре есть диван. Работать можешь в читальном зале. Ну, а пропитаться — что-нибудь придумаем. В крайнем случае, стану в переходе с баяном. А что делать? Пусть народ слушает мой "Сад", как говорится, из первых рук. Мне теперь наплевать на престиж, имидж и прочую чушь. Конечно, после Парижа и Нью-Йорка будет не по себе, но чёрт с ним со всем. Переживём. Роман твой о чём?

— Роман? О целителе. Целителе человеческих душ. Есть, Боря, на свете такие люди. А вообще — Колыма, тайга, бродяги, философы, ищущие града Божьего на земле.

— Ну, и что, находят?

— Главное — искать, Боря. А кто ищет, как говорится, тот всегда...

— Что ж, — сказал Борис. — Дай тебе Бог.

Был в палате и третий страдалец, темноволосый, с узким лицом, нервный человек, кусавший ногти во время разговора Бориса с Иваном. Но когда соседи смолкли, он вдруг открылся.

— А я, ребята, прилетел из Африки, точнее, из Ганы. Три года загорал под тамошним жарким солнышком в качестве переводчика. Жил, сообщу без ложной скромности, как падишах. И чёрт меня дёрнул тронуться в родные края. Соскучился по берёзам, по мокрой крапиве, по ромашкам полевым, едрёна корень. Приехал, а у жены в моё отсутствие — другой ухажер. Ну, и что в таких случаях — развод. Вето на дочку. Словом, самые весёлые события. В результат тоже вот вполне праздничная больничная обстановка. А там, в Гане, братцы вы мои, какая же была красота! Барракуды, омары, кокосы, национальный парк, океан, темнокожие женщины, карнавалы... Так нет же! Нас всех непременно тянет в нашу задрипанную, разворованную, нищую Россию, где вор на воре и обездоленные люди с протянутыми руками. Сердце, ей-богу, кровью обливается. И это при сказочном богатстве страны. Какая-то несчастная Гана и Россия... Поразительно! Там, в Африке, я жил во сто раз лучше. Парадокс! Вы, творцы, извиняюсь, подслушал вас, никому не нужны. А если вам и платят что-то, то какие-то гроши, подачки. И что же, дорогие господа, получается? А получается капитализм наизнанку. Когда нормального предпринимателя душит бюрократ: ему это выгодно. Он, бюрократ, получает за это свои дивиденды и взятки. Где это видано, чтобы государственные мужи крали и продавали всё, что только можно продать? В ходу дешёвка, а истинные ценности валяются, как мусор, под забором. А закон можно повернуть и так, и этак. Зачастую же его просто не существует, закона. Бандиты вольны делать всё, что им заблагорассудится. Эх, да что говорить! Не, скажу, что там всё иначе. Но в той стороне люди получают другие зарплаты и, стало быть, отношения складываются совсем другие.

— Да, тоже история, — сказал Иван. — Хотя, что же вы хотели? Жена здесь, вы там.

— Ну, во-первых, — молвил африканец, — жена с дочкой частенько приезжали ко мне. Вместе проводили отпуск. А во-вторых... Впрочем, чёрт его знает, что во-вторых. Короче, теперь я здесь, а они там.

Вошла такая же стерильная, как пододеяльники, белоснежная, улыбчивая медсестра с подносом, на котором на чистой салфетке покоились три шприца.

— Будем лечиться, господа, — произнесла она, сверкая ослепительными зубами, и почему-то многозначительно поглядела на Ивана.

Все трое с готовностью повернулись на живот, оголив розовые зады.

Медсестра ловко и быстро, в один шлепок, сделала три укола.

— Отдыхайте, — сказала медицинская фея и грациозно скрылась за дверью.

— Хороша, — со стоном переворачиваясь, произнёс влюбчивый, видно, Иван.

И потекли, поплыли одинаково однообразные, похожие, как близнецы, больничные, пахнущие физраствором дни. Праздник, одним словом, отдыха и философии. Лежи себе кверху пузом и мечтай, надейся неизвестно на что.

Иван, как только смог вставать, исчезал по вечерам к медсестре Ольге на пост, когда она дежурила. Африканца Сергея каждый божий день навещали родственники, заваливая его молочным и какой-то овсяной гадостью, которую он, морщась, нюхал и шел отдавать в другие палаты.

Бориса аккуратно посещала Тамара с обязательным букетом цветов и фруктами. Она как-то преобразилась, посветлела, видно, нежданное горе наложило на неё отпечаток церковной, апостольской святости и поста. Она была тиха, грустно улыбчива и необыкновенно заботлива. Милосердно гладила Бориса по волосам, и всё поправляла его постель.

Иван по-настоящему влюбился. Глаза его застилал счастливый туман. На всё глядел, как со дна моря. Он снова стал писать. Тургенев говорил, что не мог творить, если не был влюблён. Вот, мол, и со мной происходит нечто подобное. Ольга, похоже, отвечала ему взаимностью: всё-таки писатель,

не хмырь какой-нибудь с шарикоподшипникового завода. Хотя ещё не известно, кто по нынешним временам лучше.

В общем, наши герои мало-помалу выздоравливали. Грелись на законном солнышке. Травили анекдоты. Скучали и пускались в пространные дискуссии о политике, турбулентности планетарных движений и антагонизме всех, в том числе литературных и музыкальных направлений.

Борис в минуты тишины и покоя снова стал чувствовать в воздухе святые, дарованные Богом звуки мелодий и бережно заносил их в копилку оставленной Тамарой нотной тетради.

Африканец маялся, вышагивал по комнате, видно, вспоминал омаров, диких слонов и собственный калёный загар под ослепительно-белой рубашкой, не говоря уже о темпераментных темнокожих женщинах. Он теперь мечтал набрать группу учеников интенсивного курса английского языка, чтобы человек через пару-тройку месяцев мог свободно общаться даже с ни бельмеса не понимающим по-русски американцем.

— Дитя что сначала делает? Начинает говорить, — увещевал он. — Затем уже читать и писать. А в нашей, российской, системе обучения всё наоборот. Всё для того, чтобы никто, в результате, ни черта не знал и снова при надобности учился, но уже за деньги. Моя методика до безобразия элементарна. Всем известно — все простое совершенно. Вот это, к примеру, зарядное устройство. По-английски — чаджер, вот зажигалка — лайтер, икона (он совал предметы под нос каждому) — айкен, крышка для банки — кавер. А теперь я спрашиваю по-английски: где икона, зажигалка, крышка. Таким образом, и сам вопрос и наглядный предмет откладывается в памяти. Легко и сразу. Ну, и так далее. Хотите в ученики? Возьму недорого. Как с братьев по страданиям.

Писатель смотрел на африканца, словно из-под воды, а музыкант, пропуская сквозь слуховой аппарат нежный эфир, тоже не понимал, чего хочет от него Сергей.

Одним словом, слава Богу, поправлялись.

К выписке Иван от предложения Бориса поселиться у него галантно отказался, сознавшись, что разгоревшаяся страсть уводит его в Ольгино гнёздышко, может быть, навсегда. Однако он очень будет рад общению и вскоре позвонит, как у него всё сложится. Африканец выписывался первым, пожелав друзьям здоровья и всяческих удач на их, к сожалению, зыбком поприще. Бориса отпускали вторым. Иван оставался с белоснежной своей сестрой милосердия, Ольгой, обнадёженно благодостный и озарённый светом новой, как морское путешествие, жизни.

Тамара пришла встречать мужа. Вместе они собрали больничные пожитки Бориса и друженько, взявшись за руки, вышли на улицу.

Природа обмякла, будто баба после чая. Снег присел, потемнел. На шоссе мазутно сверкали лужи. Близкая весна уже насадала на зиму горячим боком. Пахло сыростью и мокрой корой деревьев.

Борис вдохнул серый мокрый воздух, и жизнь, как, может быть, ни странно, показалась ему снова прекрасной. Он обрадовался и голосам людей, и трескотне воробьев, и даже надсадному, носившемуся, словно по кипящей сковородке, шуму машин. Так славно было после зевотной, промелькнувшей смерти вновь ощутить своё, пусть и призрачное бытие. Тем более взамен долгого лежания на опостылевшей белой койке. Всё тело как-то само рвалось к бодрости и обновлению.

Тамара тоже повеселела: опасность сторела за плечами, и теперь она, Тамара, сама невольно ощущала приближение некоей новой светлой полосы, всё щебетала о чём-то тёплом, домашнем, о том, например, что она пригласила слесарей, и те передвинули, переставили всю мебель иначе, что вроде бы нынче все сделалось и радостней, и веселей, и просторней. Что звонил в некотором роде знакомый Бориса и, конечно, спрашивал, не надумал ли он предложить свой “Сад” для эстрады.

— Прохвост, — плюнул Борис, несмотря на прекраснодушное состояние.

— Я обед приготовила, — похвалилась Тамара. — Твоя любимая курица, запечённая с грибами. — Ей хотелось быть близкой и родной, как мать.

— Это замечательно, — одобрил Борис. — Больничная каша уже в печёнках сидит.

Потекла прежняя размеренная жизнь-существование. Так неостановимо течёт река или безразличные облака в небе. Борис стал бегать по утрам к святому Крылатскому ручью для укрепления внутреннего механизма, нервов и общего состояния. Начал обливаться святою влагой, тем более, что по соседству расхаживали босиком по ручью голые, но грамотные в отношении здоровья люди. Они внушали Борису твёрдость воли и почитание. Он, надо заметить, почувствовал себя гораздо крепче и увереннее.

Днями Борис упорно возил свой неутомимо цветущий “Сад” по разным музыкальным редакциям, но дело упорно не двигалось с места. Снова хвалили, иные заглядывались на Ганина, как на некое высшее существо, можно даже сказать, как на некий член иного мира, однако на этом всё движение и кончалось. Словно кто-то незримый прочно встал на пути и постоянно показывал Борису во множестве скользких рук огромный кукиш. Будто этот кто-то, мерзкий, пучеглазый, навеки навёл на него зловредную порчу. И всё же он не сдавался, верил, что его час, как ни крути, всё-таки наступит.

Тамара, устав от безделья и сидения в четырёх стенах, набрала себе учеников и теперь развлекалась с утра до вечера с бестолковыми оболтусами богатеньких родителей, которые, конечно, мнили своих отпрысков вундеркиндами. Но платили исправно и щедро.

Одним словом, надо признать, жизнь как-то скучненько топталась на одном месте; шаг вправо, шаг влево, а между ними — пустота.

Всё, может быть, так и катилось бы по унылому кругу, если бы не события, которые потрясли Бориса с Тамарой, с одной стороны, своей справедливостью, а с другой — ужасным исходом.

Во-первых, сначала погиб в автокатастрофе прежний руководитель и дирижер оркестра, в котором некогда трудились наши музыканты, господин Степанов. Прямо отметим, жуткой удостоился участи.

Борис с Тамарой долго молча сидели на кухне, глядя друг на друга и испытывая сложные разнородные чувства. Их пощипывали и жалость, и сострадание, и боль утраты. Но в колючих лабиринтах этих чувств, что скрывать, упрямо билась мысль: есть Бог на свете! Есть отмщение, и от расплаты не уходит никто. Нет, в душах Бориса и Тамары не было мстительного налёта. Ощущение наступившей справедливости нельзя сказать, чтобы тешило их самолюбие. Однако же и простёртый перст Божий они видели очень ясно.

Во-вторых же (и это для Тамары с Борисом оказалось ударом более сильным, громом среди ясного неба), был застрелен не известно кем и за что человек, которому наши музыканты отдали в аренду значительную часть своих сбережений для получения какой-то мифической прибыли.

Словом, вышло так, будто Господь проснулся и расставил всё по своим местам. Дирижёру Степанову сказал: “Не суди!” А музыкантам: “Не ищите лёгкой дороги”.

Борис снова почуял тупую занозу в сердце, а Тамара просто-таки слегла. Деньги канули бесследно. Где теперь их искать? Право слово, наказание за сибаритство налицо. Борис это понял и рассуждал примерно правильно. Да, ты работал, сотворил “Сад”. Но если Господь дал тебе способность выращивать деревья, нужно трудиться до седьмого пота без усталости и остановки. А ты что? Взрастил “Сад” и решил, что всё уже совершил. Пора отдыхать. Нет. Так не бывает. Посеянные в тебе возможности нужно хранить, возделывать, а затем раздавать с них плоды. Только труд, постоянный, упорный труд принесёт и успех, и славу, и почитание. Хотя, если разобраться, и они по большому счёту не нужны. Одна лишь работа оставляет радость, чёрт побери. Сам процесс. Покой и воля. А больше ничего нет. Всё остальное — тлен. Думал ли Моцарт, Чайковский, Бах о какой-то великой славе, всемирном признании? Они трудились неустанно и открывали людям Бога с Его вселенной звуков. И потому остались и живут плоды их. Вот в чём, собственно говоря, истина. А деньги... Да бес с ними, если рассудить, с деньгами. Не вешаться же из-за них. Заработаем как-нибудь. Как люди, так и мы.



— Право, не знаю, Лапа, как теперь мы будем жить, — молвила Тамара, присаживаясь к столу. — Конечно, мне неплохо платят за учеников, но этого, как ты понимаешь, по нашим запросам явно недостаточно.

— Проживём, Лапуля, — твёрдо ответил Борис. — Я послал свой “Сад” в Канаду, Францию, Германию. Авось что-то образуется.

— Может, ты действительно поработаешь для эстрады, — не выдержала Тамара. Эта мысль давно не давала ей покоя. — Отчего же, Лапа? Почему бы и нет? Многие трудятся в эстраде, и довольно успешно. Канада с Германией само собой, а тут...

Борис посмотрел на жену многозначительно долго. Почти как на предателя. Посмотрел и вытащил сигарету. Ему вдруг стало всё безразлично. Собственное здоровье, выращенный в российской глубинке “Сад”, вся музыка, взятая вместе, стылая, ничем не радующая жизнь.

— Великий писатель Андрей Платонов, — произнёс Борис задумчиво, — работал дворником после того, как Сталин запретил его печатать. И писал. К тому же завещал своей жене, Марии Александровне, никогда, ни при каких обстоятельствах не отдавать ни одной страницы на Запад. Вот и я лучше пойду таскать ящики, — добавил он ледяным голосом, — но продаваться не стану. Не буду, Лапуля! — закричал он вдруг так, что Тамара вздрогнула и тихо заплакала. Ей было жалко, что так обречённо неудачлив, пусть и не по своей вине, муж, жалко себя, своей неопределённой будущности.

— Извини, Лапуля, — хрипло выдал из себя Борис. Ему, конечно, меньше всего хотелось, чтобы эта неожиданная распря между ними переросла в серьёзную ссору, каких, по сути, никогда прежде у них не случалось.

На следующий день, когда Тамара отбыла к своим преуспевающим ученикам, Борис сгрёб запыхавшийся баян и отправился с тяжёлым сердцем в переход метро. Прямо скажем, не лежала у него душа к этому нищенскому занятию. Ох, как не лежала! Однако, пересилив себя, пересилив что-то, наступавшее ему прямо на горло, он прибыл на место, извлёк инструмент, оставив футляр открытым для подношений, и начал играть. Пальцы его заметно дрожали от отвращения к такой работе, словно он оказался в клетке и вынужден был из-за решётки развлекать зрителей. Но дело было сделано. Борис уже попал в капкан. Что мешало ему так же, как Тамара, набрать учеников? Или поступить в какой-нибудь клуб массовиком-затейником? Однако такие занятия Борис считал ещё более унижительными. Одним словом, он начал играть, стараясь не глядеть на прохожих. Борис Ганин решил, что он будет исполнять только свой “Сад” и ничего больше. Никаких “Подмосковных вечеров”, “Цыганочек” или “Чёрных очей”.

В переходе было прохладно, руки стыли, пахло мочой. Но Борис всё больше входил в роль, обретая какое-то нездоровое, мстительное чувство и вдохновение. Люди текли мимо плотной массой, как некая тяжёлая вода, и в эту тяжёлую воду Борис сбрасывал спелые плоды своего “Сада”. Прохожие реагировали вяло. Лишь немногие из сочувствия опускали в футляр баяна скудные воздаяния. Чем больше играл Борис, тем тяжелее становилось у него на сердце. Он чувствовал, что играет механически, безо всякого душевного взлёта. Тем не менее, ему виделась в момент игры вся озарённая солнцем сторона Тульской губернии, горделивая изба всемирной старушки бабы Наташи, лес, озеро, цветочные поляны, Тамара, порхавшая в них, словно сатурния, и весь благоуханный в цветении вишнёвый сад.

Произведение своё Борис исполнял долго, но, доиграв до конца одну из тем, понял, что на большее его не хватит. С чувством горечи и досады на себя, на всю тупую, унылую жизнь, на безразличную публику, Борис выбрал из футляра нищенскую мелочь, сложил инструмент и отправился прямым ходом в магазин.

Заработанных денег хватало как раз на бутылку водки. Дома Борис, ещё не раздеваясь, налил полстакана и залпом ахнул. Затем только снял пальто и присел к столу. Перед ним вдруг снова возникли картины былых триумфов, блестящих выступлений, гастролей, овец, восторженная публика и сегодняшняя жалкая игра в заплёванном, пахнущем застарелой мочой

переходе. Возникла вся нелепая картина блистательных взлётов и низкого горького падения...

— Вы только пообещайте, что подарите мне кассету с выступлениями вашего оркестра или, может быть, вашу личную запись. Я, знаете ли, когда-то тоже училась музыке, и для меня это был бы прекрасный подарок, — сказала Борису директриса магазина, куда он пришёл устраиваться грузчиком. Скажем сразу, вспоминая Николая Васильевича Гоголя, с виду это была “дама прекрасная во всех отношениях”. Она давно симпатизировала Борису, знала со слов велеречивой Тамары всю их историю и, что скрывать, имела в отношении Бориса Борисовича тайные мечты.

— Обязательно, Анна Ивановна! — горячо откликнулся Ганин, вспыхнул и весь засиял от очередного заочного признания. — И кассету, и личную запись. Я, пожалуй, запишу вам отрывки из собственной симфонии.

— Это было бы замечательно, — уже совсем пришла в себя Анна Ивановна. — Знаете, признаться, не понимаю, как можно сочинять музыку. Это какое-то высшее таинство. Мне, во всяком случае, оно не доступно. Как вы это делаете?

— Я, собственно говоря, ничего особенного и не делаю, — ответил польщённый Борис. — Просто записываю нотами то, что диктуется мне откуда-то сверху. Ей-богу, сам не знаю, откуда.

— Да-а... — задумчиво произнесла Анна Ивановна. Свет от окна падал на её серебристо-льняные волосы, оттеняя здоровый, абрикосовый цвет щёк. — Но ведь вы, вероятно, учились сочинять?

— Нет, — определённо сказал Борис. — Нас учили музыке. Игре на инструментах. Преподавали историю классики. Нашей и зарубежной. Требовали знания произведений. Но сочинять — это уже было за рамками консерватории. И это давалось немногим.

— У меня такое ощущение, — сказала Анна Ивановна, и глаза её нежно заблестели, — будто мы с вами знакомы уже давно. Просто не виделись и вот встретились снова.

— Может, это так и есть. — И Борис впервые взглянул на Анну как на женщину. Взглянул и смутился, потому что после встречи с Тамарой у него никогда никого не было. До неё — да. Случались и любовные романы, и короткие, ни к чему не обязывающие встречи. Однако после Тамары — никого. И вдруг в глазах Анны Ивановны Борис прочёл и страсть, и скрытую необузданность, и нежность, и, одним словом, пыл любви.

Он интеллигентно покашлял в кулак и как-то очень обыденно спросил:

— В котором часу завтра на вахту?

Анна Ивановна помолчала, изучающе глядя на него, и вздохнула:

— К восьми. Как обычно.

Борис прекрасно знал, что — к восьми. Не однажды с нетерпением ждал этих заветных восьми.

— Рабочая одежда у нас есть. Пожалуйста, не опаздывайте. В восемь, к слову, уже могут быть машины с продовольствием.

Борис не столько вышел сам, сколько вынес внутри себя взгляд и внимание директрисы. Какое-то неясное предчувствие зашевелилось в нём пульсирующим молодым теплом. Понятно, никаких преступных планов он не строил и надежд в отношении Анны Ивановны не питал. И всё же какой-то ласковый зов поселился в его душе.

Тамару Борис неожиданно застал дома. Она была в гипсе, на костылях.

— Вот, Лапа, видишь, шла на работу, поскользнулась и сломала ногу, — весело объяснила она своё положение. — Теперь ты у нас единственный кормилец. Работу я, конечно, потеряла. А “Сад” твой цветёт где-то на другой планете! — И Тамара саркастически засмеялась.

Это больно ударило Бориса.

— Ты мне ничего не скажешь? — слезливым голосом спросила пострадавшая жена.

— Что тут говорить, — холодно ответил муж.

— Как что? — удивилась Тамара. — Что ты меня любишь. Жалеешь. Ну, и всё такое.

— Конечно, люблю. Конечно, жалею. Но “Сад” мой растёт на этой планете. Более того, он в России, и когда-нибудь действительно расцветёт. Пусть даже после моей смерти.

Утром Ганин переоделся в рабочий комбинезон, превратясь из музыканта в грузчика, кормильца семьи. Зарплата не слишком большая, но скромно прожить на неё можно.

Напарником у Бориса оказался некий долговязый человек по имени Серёга и прозвищу Золотой, так как имел во рту целых три бронзовых зуба, похожих на золотые. Золотому Серёге не так давно перевалило за сорок. Был он худым, но жилистым, носил кошку нечёсанных волос, пышные соломенные усы, и у него были бугристые, словно запечённые в глине, руки с навечно чёрными ногтями. Лексикон у Серёги был не хуже, чем у Элочки-Людоедки, но свой, собственный. Жил он одиноко и потому большую часть времени посвящал любимой работе. Борису он сразу представился как Серёга и протянул в знак будущей крепкой дружбы копчёную лапу. Он оказался профессионалом: бросал зыбки, словно семечки щёлкал. С продавщицами шутил плоско и грубо, заливаясь при этом раскатыстым хриплым хохотом и обнажая все три бронзовых зуба. Эта жизнь нравилась Серёге, и другой ему не надо было. Все знали, что Золотой простодушен, честен и никогда от него ничего не прятали, он всегда получал наградной стакан, а к вечеру — и бутылку. Золотой никогда не отказывался ни от какой работы, и порою ночевал прямо в магазине, расположившись на старых фуфайках. Но наутро бывал весел и всегда готов к труду.

Бориса, само собой, Серёга поначалу берёт, стараясь, как опытный, взять на себя основную нагрузку. Но очень обиделся, когда Борис попытался отказаться от винной трапезы.

Так или иначе, с первого же дня они были связаны во всём. Теперь Борис частенько, а вернее, чуть ли не каждый день являлся домой, мягко говоря, с гостинцами, которыми, словно невзначай щедро снабжала его прекрасная и сердобольная Анна Ивановна. Впрочем, доброй и щедрой она была, пожалуй, только с Борисом. С персоналом директриса обходилась довольно строго и бесцеремонно. Но к музыканту явно благоволила, что, между прочим, мгновенно отметила торговая общественность магазина. Рыжая Люська прямо заявила, что у начальницы с Борисом роман, и она самолично наблюдала их в объятиях друг друга непосредственно в директорском кабинете. Конечно, на эту рыжую Люську немедленно донесли, и в сей же день она искала новую работу. Анна Ивановна, понятно, стала осторожнее, но всё равно тайный огонь горел в её пышной груди, и она не в силах была с ним совладать. Дело дошло до того, что музыкант, призванный однажды в кабинет для приватной беседы, после обсуждения производственных процессов был приглашён к Анне Ивановне на именины.

После трудового дня Борис, как положено, вымылся в душе, надушился французским одеколоном, надел белую рубашку, английский костюм и на недоуменный вопрос уже хронически больной жены: “Лапа, ты куда?” — ответил, что идёт на рабочее собрание, а там, понятно, нужно выглядеть прилично. К тому же у Тамары неожиданно обнаружили признаки диабета. А с этим шутки уже куда как плохи. Борис оставил растрёпанную жену наедине с неотъемлемой уже бутылкой и отправился в гости.

Стоит ли говорить, какой у Анны Ивановны оказался стол, как изысканно выглядела она сама, в какую красоту и уют окунулся сам Борис после грязной посуды и деревянных блинов.

— Я не хотела никого приглашать, — призналась Анна Ивановна. — Отпразднуем вдвоём. Если, конечно, не возражаете.

Борис удивился, но не возражал. Чего возражать, раз уж явился, да ещё, тем более, с пышным букетом роз.

И покатился тихий и тёплый, ласковый вечер с милыми, наивными глупостями, лёгким кокетством и хрустальным звоном тонких фужеров. Самое удивительное, Борис не чувствовал угрызений совести. Поначалу — да. Пока

он ехал в метро, затем шёл мимо задумчивых деревьев и кустов, готовых скоро принять близкую весну, какая-то чёрная пиявочка сосала его изнутри, жгла противным сознанием вины перед Тamarой. Но стоило увидеть блистательную Анну Ивановну, не директрису, а просто роскошную женщину, в глазах которой нескрываяемо горела любовь, как червоточина затянулась, а боль совести, прямо скажем, превратилась в обыкновенный пар. Да и вся привычная обстановка европейского былого комфорта, одобренная лирикой Шопена (Анна Ивановна знала, что подобрать к приходу Бориса), унесла музыканта в то далёкое прошлое, где он привык чувствовать себя свободным, независимым, способным совершать чудеса.

Разгорячённый, композитор Ганин снова говорил о Моцарте, Бахе, Чайковском, о незаслуженно забытом Чюрлёнисе, о собственном ощущении этих и других композиторов. К приятному удивлению Бориса, Анна (они уже перешли на “ты”) принимала живое участие в разговоре, проявив немалые познания. Когда же выяснилось, что она в своё время окончила музыкальное училище, Борис и вовсе растаял. Огорчало лишь, что она пошла по торговой части. Ну, что же... Борис тоже не был известным композитором, а сейчас, тем более, значился обыкновенным грузчиком.

— Вот что, Боря, — сказала Анна уже после первого танца и нечаянного и лёгкого, как пльцца бабочки, поцелуя. — Бросай ты эту чёрную работу и пиши следующую симфонию. Та кассета, которую ты мне подарил, потрясла меня, и я, поверь мне, плакала, слушая её. Я, пойми меня правильно, хочу, чтобы ты был настоящим музыкантом. Мне тяжело смотреть, как ты катишься вниз, не думая ни о себе, ни о голосе Бога, посылающего тебе святые звуки как великий дар. Многие мечтали бы слышать, но не слышат. А ты слышишь. Тебе дано. Но ты, прости, плюёшь на это и шагаешь в какие-то грязные грузчики, в друзья к Золотому Серёге. Ты уверен, что поступаешь правильно?

Борис отложил вилку и помрачнел.

— Не забывай, Аннушка, что мы в России, — сказал он глухим голосом. — Можем подковать блоху и умереть в нищете и безвестности. Можем создавать шедевры, а в ходу будет китч. Напишем “Очерки бурсы” и загнёмся от пьянства под забором. Кроме того, мне нужно на что-то существовать. Подвизаться шутком-скоморохом я не могу. Лучше — мешки-ящики.

— Нет! — резко возразила Анна. — Я не дам тебе погибнуть. Потому что...

Возникла пауза, в которой Борис примерно знал, что последует за этим: “потому что”... И всё-таки спросил:

— Потому что — что?

— Потому что я люблю тебя, Боря. Вот почему. Что касается денег — у меня есть вклад в банке на довольно крупную сумму. Я буду отдавать тебе проценты. Не спорь. Это, по крайней мере, больше твоей зарплаты раза в три. Мне проценты не нужны. У меня всё есть. А чтобы ты не думал, мол, я тебя покупаю, договоримся так — отдашь, когда сможешь. И учти, мне от тебя ничего не надобно. Ты абсолютно свободен. Но мой дом для тебя всегда открыт. Захочешь прийти — буду просто счастлива. Так что ступай в мир, Борис Борисович Ганин. Слушай Бога и записывай Его голос так, как ты слышишь. А я... Я тебя увольняю. С завтрашнего дня. По собственному, как полагается, желанию. Я не могу видеть у себя человека, не соответствующего занимаемой должности. Ну, а деньги — дым. Счастья они не приносят. Будут — отдашь. Зазвучит твой “Сад” с большой сцены, тогда и отдашь.

— А если не зазвучит?

— Нужно верить, Боря. Верить и добиваться. И дано тебе будет, говори библейским языком.

Борис встал и благодарно обнял Анну, обнял нежно и ласково, как обнимают мать после долгой разлуки.

И снежным комом покатилась ночь. Бурная, жаркая, полная стонов счастья и горячих признаний. Борис сам не ожидал от себя такого пыла, будто впервые познал женщину.

Домой он вернулся под утро, не ведая, как и что говорить Тамаре, поскольку никогда не врал ей и врать не умел вообще. Но она спала во всей наружной одежде, расположившись поперёк дивана. Рядом валялись костыли. Нелепо вывернуто торчала нога в гипсе. Бутылка на столе была пуста.

Борис всё понял. Совесть остро обожгла его, заскреблась где-то под сердцем. Он разделся и лег спать. Проснулся оттого, что услышал знакомый до боли запах блинов. Стал медленно одеваться и решил: “Если что — скажу ей всю правду”. Внутри себя Борис чувствовал, что с некоторых пор за ним тянется какой-то тяжёлый шлейф и то опрокидывает навзничь, то даёт подняться, то снова валит на спину. Какой-то фантом прицепился к его судьбе, но как оторвать его, Борис не знал.

Теперь вот связь с Анной — от себя не скроешь — что-то перевернула в его душе. Но зачем она нужна, эта связь? Что даст она ему в дальнейшем, кроме боли и новых утрат? Он полюбил Анну? Ее страсть, вера, самоотверженность, бескорыстие тёплым бальзамом легли на сердце. Но что с этим со всем делать, тоже не известно.

Тамара стояла на костылях у плиты и жарила очередные деревянные лепёшки. Волосы её, заметил Борис, были спутаны, забинтованная нога неестественно и жалко висела над полом. Он вспомнил вчерашнюю обворожительную Анну, мгновенно вспыхнули в памяти её ласки, и ему стало тоскливо и грустно, словно он увидел на дороге раздавленную кошку.

Борис вдруг совершенно ясно понял, что здесь, среди запылённой мебели, хронически грязной посуды и постоянных печёных деревяшек, называемых блинами, он ничего не услышит, а значит, ничего не создаст. С другой стороны, это была его Тамара, та, с которой он прожил более двадцати лет, где было всё: и любовь, и радость, и счастье, и взлёты, и падения. Бросить её, казалось, невыносимо. Но и оставаться не представлялось возможным. Это значило, убить свой слух, закрыть доступ к высшим звукам, а стало быть, уничтожить себя самого.

Борис кашлянул, чтобы обнаружить своё присутствие. Обернувшаяся от неожиданности Тамара чуть не упала. Борис едва успел поддержать её. Она виновато, ласково улыбнулась.

— Прости, Лапа. Я вчера не дождалась тебя. Уснула. Вы так долго совещались. Какой нынче день?

— Воскресенье, — вздохнул Борис.

— Ты сегодня, я замечаю, какой-то рассеянный. И бледный. Не заболел?

— В общем, так, — мрачно проговорил Борис. — Я начинаю писать новую вещь. А может, это будет продолжение “Сада”.

Тамара саркастически усмехнулась.

— Когда же ты собираешься это делать? Ведь кому-то надо работать. Иначе мы не проживём.

— Проживём, — зло сказал Борис. — Я буду играть на бегах. Или в казино. Мне всегда везло. Помнишь, в Монте-Карло я выиграл сразу пять тысяч.

— Ха, — сказала Тамара. — Что ты сравниваешь? Тогда нам было всё равно. Что выиграть? Что проиграть? Там играли для забавы и веселья, а здесь это вопрос жизни.

Было воскресенье, но Борис знал, что Анна должна быть на работе. Он набрал номер телефона и услышал в трубке, словно из другого мира, знакомый, но строгий голос. В своём кабинете Анна преображалась и принимала образ сугубо деловой женщины. Наверное, в её положении директрисы иначе нельзя.

— Я хочу тебя видеть, — сказал Борис и почувствовал, как она смутилась на другом конце света. Весь её деловой лоск рассыпался. Впрочем, Анна тут же справилась с собой: видно у неё в кабинете кто-то был.

— У меня совещание, — сообщила она голосом из мягкого металла. — Позвоните попозже.

— В шесть я буду на углу. Напротив магазина. Но догонию тебя в сквере. Договорились?

— Хорошо, — ответила она, не меняя бесстрастной интонации.

Тамара ещё спала, утонув в каком-то судорожном, больном сне. Она то вздрагивала, то со стоном сучила руками. Бинт на её ноге был уже несвежим, серым. Рядом сиротливо лежали костыли. От этого грустного зрелища Борису стало не по себе. Он написал записку, что ушёл по делам и вернется не известно когда. Затем достал бутылку, зная, что, проснувшись, Тамара будет метаться в чаду похмелья. С этим, понятно, нужно было что-то делать, но что именно, Борис пока не знал.

Около шести он стоял напротив магазина так, чтобы видно было вход-выход. В руке у него горел букетик нарциссов. Вечер тихо озарял улицы весенним золотым светом. По крышам высотных зданий ползли лёгкие, как вуаль, прозрачные облака. Пахло зеленым кустов и свежестью молодой травы.

Вечер. Зелёный бульвар. Ожидание женщины...

Память!.. Как много в ней всего. Целый мир. От первого поцелуя матери до запредельных видений. Мир, который, хочешь — не хочешь, в конце концов, становится облаком, задумчивой, недостижимой планетой. Но... От кого-то остаётся сверкающий "Сад", а кто-то дарит в наследство жухлые листья. Или ничего. Ничего!

Ровно в шесть Анна вышла из дверей магазина. Строгий чёрный костюм, блестящая лаком сумочка на плече. Она шла чуть раскачанной походкой женщины, знающей себе цену. Борис издали залюбовался ею, зная, тем более, что скрывается под чёрным, элегантным костюмом. Он ощутил в груди лёгкое брожение, похожее на газировку, словно кровеносные ручьи наполнились острыми струящимися пузырьками. Борис вдруг подумал, как далеко сейчас Тамара. На каком-то пустынном острове, куда трудно доплыть.

Анна уже подходила к означенному скверу. Шла уверенно, не оглядываясь. И не суетясь. Борис пересёк улицу и, подойдя к Анне, бережно протянул, как лёгкую птичку, букетик нарциссов. Какое-то время они шли молча.

— Ты сегодня удивительно красивая. Я думал о тебе.

— Что же ты думал?

— Что ты красивая, — рассмеялся Борис. — И, может быть, ты спасёшь мир. По крайней мере, мой. С некоторых пор ты живёшь в нём. И довольно прочно. Согласно прописке, как поётся в известной песне.

— В песне фигурирует девушка Тоня...

— Неважно, кто там фигурирует. Важно то, что, скорее всего, благодаря вам, Анна Ивановна, я начал писать новую вещь. Сегодня, с вашего высочайшего позволения, мы устроим маленькую премьеру.

— Правда? — оживилась Анна. — Ты не представляешь, как ты меня обрадовал. Впрочем, я давно знала, что ты — проводник.

— Откуда это можно знать? Долгое время я был просто музыкантом. И никем больше.

— Тогда тебе этого было достаточно. Проводники не знают, когда им сверху скажут, что они проводники. Скажут на языке красок, слов или звуков. В тот же миг, вероятно, им ставят на глаза некую печать. У тебя она тоже есть. Глаза, словно поселяются в двух мирах. Они и здесь, и ещё где-то. Даже страшновато.

— Ну, тебе бояться нечего.

— Как знать. Я очень привязчива. И потом я тебя...

— Что?

— Ничего. Я хотела сказать, что привыкаю к тебе. Это может родить какие-то требования, условия. Я боюсь их. Мне не хочется ничем тебя связывать. Ты должен чувствовать себя абсолютно свободным. Быт — страшная вещь. Он, как стая крыс, способен перегрызть любые провода. Ты понимаешь, о чём я говорю?

Они спустились в метро, и толчея часа пик задушила разговор. Толпа тесно прижала их друг к другу внутри вагона, и Борис, почувствовав упругое тело Анны, взволновался. Ему отчего-то стало неловко, словно они с Анной были раздетыми среди одетых людей. Анна снизу вверх посмотрела на

него. Во взгляде её были любовь и желание. Она крепко сжала его запястье. У Бориса пересохло в горле.

— Я захватил ноты, — вроде бы некстати сказал он шершавым языком. Анна промолчала. Только ещё крепче сжала его руку.

— Я соскучилась, — сказала она на ухо Борису.

— Я тоже, — ответил он.

За окнами летел в бездну, грохоча на стыках, мрак подземелья. Борис с Анной неслись сквозь чёрное чистилище метро в светлый и уютный рай, берега которого пахли цветами. Тишиной и покоем. Там можно любить и работать, жить полноценной жизнью. Но за пределами этих берегов находилась, будто на распяты, Тамара, обрюзгшая, постаревшая, жалкая. И всё же — родная. Сбросить её в пропасть, оторвать с корнем от души своей Борис не мог и считал преступлением. Он вздохнул, но ещё крепче прижал Анну к себе.

В прихожей, не сговариваясь, они судорожно начали раздеваться. Бросали вещи прямо на пол, обжигая друг друга глазами, путались в пуговицах, застёжках и молниях. В свои тридцать пять она была прекрасна, как луг, залитый солнцем. Борис упал рядом с нею, уже не в силах сдерживать себя.

В какой-то момент Ганин снова услышал музыку. Она плыла из сиреновой долины их общего путешествия. То была музыка рук, губ, волос, всего тела Анны, которое и создано, казалось, только для любви.

Потом они долго лежали в расслабленной неге и слушали тишину. Она накрыла их лёгким пуховым покрывалом, под которым можно было ощутить ровный стук собственного сердца, шелест далёкого океана и шёпот высоких звёзд. Свет и тьма в цветном ожерелье, принесённом на крыльях нездешней птицы, бездонная тишь, мерцание нехитрого, первозданного счастья. Тут, в эти минуты было всё. Вся вселенная. Вся музыка и гармония мира.

Борис посмотрел на Анну. От её красоты можно было потерять зрение. И оглохнуть. Как оглох Бах от шума музыкального водопада. Борис с печалью вспомнил ещё, что такой же красавицей была когда-то его Тамара. Горе и вино сожгли её.

— Я люблю тебя, — сказал Борис и не соврал. — Но...

— Не нужно, — прошептала Анна. — Я всё знаю.

— Вряд ли, — сказал Борис. — Всего знать невозможно.

Борис промолчал. Он представил себе, как Тамара бродит по комнате на косячках. Или сидит со спутанными волосами за столом. А может, валяется на диване, пусто глядя в бездонный потолок.

— Тебе трудно. Я знаю, — сказала Анна. — Я не говорю: выбирай. Это значило бы согнуть тебя. Но ты, наверное, должен всё же...

— Что должен? — резко спросил Борис. Может быть, резче, чем хотел.

— Не знаю, — сказала Анна. — Видимо, придётся что-то решать. В конце концов, ты сам поставил себя перед выбором. Одной лишь фразой: “Я люблю тебя, Анна”. Как ты будешь жить с этим? Тем более писать. Ты не сможешь раздваиваться. Это не в твоей натуре. Видишь, получается, я сама себе противоречу. Но что поделаешь?

— О, Господи! — простонал Борис. — Я не могу бросить её. Она сирота. Никого нет. Кроме меня. Если я её брошу, Тамара покончит с собой. Поверь мне. Всё так и будет. Она как ребёнок. Понимаешь?

Он завернулся в простыню, встал и закурил. Анна легла на бок и, облокотившись на руку, смотрела на Бориса.

— Ты красивый, — сказала. — Не мучай себя. Всё как-нибудь решится само собой. Жизнь мудрее нас. Мудрее сентиментальных заповедей. Хотя, как *посмотришь с холодным вниманьем вокруг...*

— Я сыграю тебе, — не то спросил, не то сказал Борис.

— Боже мой! — вспыхнула Анна. — Мы обо всём забыли. Конечно, сыграй. Я только наброшу халат.

Борис достал ноты и сел за фортепиано. Анна устроилась в кресле, поджав под себя ноги. Он играл вдохновенно, точно, цветисто, со всеми оттенками звуков, отражая, как в зеркале, пережитое в последнее время.

В последние годы, месяцы и дни. Под его руками оживали горе, радость, грусть, отчаяние, кровь, пот и счастье любви. Смерть и жизнь. Одна тема сменялась другой, форте уплывало в пиано, зло сгорало в добре. Благие помыслы плавно поднимались по винтовой лестнице в далёкие, безбрежные небеса.

Потом они сидели за столом и пили за новое сочинение Бориса, за Анну, за любовь, за всю чудесную музыку мира.

— Ты, наверное, устал сегодня? — неожиданно спросила Анна.

— С чего ты взяла? — удивился Борис.

— Тогда иди ко мне. Мы с тобой так редко видимся.

Они снова любили друг друга. Изысканно, томительно, страстно.

Около одиннадцати Борис засобирался домой: его мучили дурные предчувствия.

— Я позвоню, — грустно сказал он перед дверью.

Анна печально улыбнулась.

— Позвони.

Дома всё ещё стоял неистребимый запах блинов. На кухонном столе торчала опорожненная наполовину бутылка шампанского. Две сигареты, затухшие и раскманншие, как попало, валялись рядом с пепельницей. Тамара широко раскинувшись, снова лежала на диване во всей верхней одежде. Большая нога, неловко вывернутая, свисала до пола. На носу виднелась кровавая ссадина. Это значило, что Тамара падала, и Борис представил себе, как она поднималась.

Тамара громко и натужно храпела. От этого храпа хотелось бежать куда угодно. Борис вздохнул и вынул пачку сигарет. Жить здесь у него больше не было сил, но и бросить жену в таком состоянии он просто не мог: слишком многое связывало их. В тупом безмолвии Борис выкурил на кухне сигарету. Тут стояла какая-то могильная тишина, словно кто-то настолько сжал пустоту, что в неё не мог просочиться ни один звук. Дым висел над головой голубыми, застывшими волнами. Где и как он проглядел Тамару? С этим нужно было что-то делать. Только вот что?

Ночь сулила ему череду кошмаров, если вообще сон мог посетить его под аккомпанемент громогласного храпа. Борис зашёл в ванную и принял душ. Тело посвежело, но душу всё равно скребли чьи-то острые когти. Он расстелил постель, выключил свет и лёг. Ужасный храп Тамары, словно в отместку за измену, терзал его. Неожиданно она снова начала стонать, бредить, говорить с кем-то. Борис прислушался.

— Архангел! — отчётливо молила Тамара. — Почему ты молчишь? Уйдите все! Оставьте нас одних. Расходитесь. Оставьте нас одних. Ну, что ты стоишь, Гавриил! Неужели ты не можешь понять? Меня зовут Тамара. Ты же знаешь, мне нужен младенец. Ребёнок, Гавриил! Неужели ты не можешь понять? Осталось совсем немного времени. Бабий век короток.

Потом начался какой-то словесный винегрет, и Борис понял: дело плохо. Он вскочил и набрал номер “скорой”. Машина приехала довольно быстро. Врач и с ним двое подручных медиков осмотрели Тамару. Но и проснувшись, она никого не видела, продолжая говорить с кем-то другим.

— Она верующая? — спросил врач?

— Да, — сказал Борис. — Но не очень.

— Я где-то читал, что глубокая вера приводит к фанатизму, — сказал один из медиков.

— У неё другое, — объяснил Борис. — Она не может родить ребёнка. Поэтому...

— Ясно, — сказал врач. — Мы заберём её. Психоз — это не шутки. Это, может быть, звонок с того света. Правда, — замялся доктор, — потребуются лекарства и всё такое.

Борис понял его и достал из пиджака сто долларов.

— Хватит? — спросил он.

— Для начала — вполне, — ответил врач. — С нами ехать необязательно. Вот адрес. — Он быстро набросал на листочке координаты больницы. —



Дня через три-четыре можете её навестить. К этому времени, думаю, она уже очнётся. Но учтите, лечение долгое. Минимум — месяц-полтора.

Подручные медики осторожно подняли Тамару. Она всё ещё не понимала, что происходит, и водила по сторонам безумными глазами. У подъезда негромко урчал медицинский “рафик”, от которого, казалось, пахло больницей. Перед машиной санитары положили Тамару на носилки, и на колесиках закатали внутрь. “рафик” укатил, дымя синим хвостом.

Борис вернулся домой. Снова ступил в чугунную, давящую тишину, от которой могли лопнуть барабанные перепонки.

— Ну и денёк... — сказал он. — Два-три таких, и можно съехать с ума.

Теперь он работал, сжигая себя. Иногда вспоминал Анну, тосковал о ней, хотел показать уже написанные клавиры, но она была так далеко, словно на другой планете. Борис боялся отрываться.

Тамара медленно поправлялась. Мешки под глазами исчезали. Но вид у неё оставался жалкий. Она выходила к Борису в нелепом халате с покорно-печальной улыбкой, будто потеряла дорогого и близкого человека. По сути, так оно и было.

— Здравствуй, Лапа. — И земля со скрипом поворачивалась на своей оси, возвращая Бориса в их прошлую жизнь. Как в калейдоскопе, за одну минуту пронеслись былые концерты, оvationи, цветы, города, люди. Что говорить: всё было. Олимп. Высота. А теперь?

— Здравствуй, Лапуля. Как поживаешь?

— Ты совсем зарос. Одичал без меня. Что это с тобой?

— Пишу “Сад”. Третью часть. Ничего не замечаю. Ни одной свободной минутки.

Дальше разговор не складывался и был похож на скомканную бумагу. Тамара чувствовала отчуждение мужа.

— Ты, наверное, сильно устаёшь, Лапа?

— Не знаю, Лапуля. Может быть. Когда работаешь, будто перелетаешь в другое измерение. Ты же знаешь, там всё иначе.

— Это верно, — соглашалась Тамара. — Ну, работай. Помогай тебе Господь.

— Я принёс тебе ещё еды. Целый пакет. Потом разберёшь.

На этом разговор и кончался. После вынужденного, недолгого молчания Борис наспех обнимал Тамару и снова превращался в прозрачный, но живой, пульсирующий слух.

Так пронеслись дни, недели. Борис не замечал времени. Не знал, какое число. Даже час. Будильник стоял незаведённый, а наручные часы валялись где-то под умывальником.

И вдруг в один из дней ворота захлопнулись. Канал связи оборвался. Ганин больше ничего не слышал. Он заметался, как зверь, попавший в капкан. Но даже теней звуков больше не существовало. Мелодии и темы умерли. В ушах стояла зудящая, подземная тишина.

Борис сжал руками голову и упал на диван. Тупо заныло сердце. Какое-то время он лежал неподвижно. Тело будто омертвело. Всё окружающее заполнилось тонким, отвратительным гудением, похожим на неумолчный писк металлических комаров.

Борис поднялся и прошёл на кухню. Достал из холодильника дежурную бутылку и налил рюмку водки. Через некоторое время после выпитого противный писк пропал. Борис немного успокоился. Он знал, что канал связи не может работать непрерывно. Значит, нужно немного переждать. Он посмотрел в окно. Темнело. Густая зелень весны тихо стояла за окном плотной стеной уже народившейся жизни. А над пушистыми деревьями и лиловыми кустами сирени висели яркие, тёплые звёзды.

Он отправился бродить по улицам, а когда вернулся, машинально заглянул в почтовый ящик. Газеты, журналы, рекламные листки, письмо. Борис не стал разглядывать конверт: наверное — Тамаре, подумал он. Ему уже сто лет никто не писал.

Но это письмо пришло от друга из Германии, куда в числе прочих стран были отправлены в своё время клавиры “Сада”. Музыкант почувствовал сильное волнение, руки слегка дрожали, когда отрывал кромку конверта. Два листа. Один, с гербовой шапкой, официально извещал о том, что симфония “Сад” принята к работе Берлинским симфоническим оркестром. Тут же на русском языке приглашение на репетиции. Второй лист содержал дружеское, личное поздравления Курта и пожелание дальнейших творческих удач.

Оказалось, тут ещё одно поздравление. Его прислал главный дирижёр оркестра Ганс Крюгер. Он писал от руки неплохим слогом, что хорошо знает и ценит русскую культуру. Повествовал Крюгер и о том, что, дескать, неоднократно бывал в Москве, начиная с 1945 года, когда ему пришлось в качестве военного заключённого строить в Измайлово жилые дома. Говорил о том, какие сложные чувства ему пришлось испытать к России на протяжении долгих лет холодного непонимания друг друга и как он был по-человечески счастлив, когда бетонная стена, наконец, рухнула. Писал о том, что, несмотря на страшные годы фашизма, войны, мирного отчуждения, у него в России много хороших друзей — музыкантов, поэтов, писателей, художников. Поэтому он чрезвычайно рад, что этот круг людей пополнится ещё одним одарённым и, более того, необыкновенно талантливым человеком. Что он, Ганс, будет просто счастлив работать с Борисом Борисовичем и желает скорее обнять его в стенах Берлинского концертного зала, а ещё больше — у себя дома, где и жена, и дети тоже будут очень рады встрече.

Некоторое время Борис сидел оглушённый. После всего пережитого ему трудно было поверить в случившееся. В висках туго и напряжённо толкалась горячая кровь. Он вспомнил отца. Борис не знал его. Вернее, знал только по фотографиям. Память Бориса-сына не сохранила в сердце человеческих признаков Бориса-отца. Он, отец, был тяжело ранен в Сталинграде, а вернувшись с войны, продолжил боевую деятельность. Но уже на мирном фронте, в милиции. Погиб в пятьдесят пятом в схватке с бандитами. Борис тогда ещё был в бессознательном годовалом возрасте. От отца остался певучий баян да старенькая мандолина. Эти два музыкальных предмета и определили жизненный путь Бориса Ганина.

И вот сейчас он получил признание и приглашение от человека, который, вполне возможно, мог оказаться в те далёкие времена в одном тяжёлом бою с его отцом. Только по разные стороны. А что? Очень даже просто. Нервный смех и рыдания пробили Бориса, словно электрическим током.

— Ах, Россия моя, Россия! — шептал музыкант, размазывая по щекам слёзы. — Красавица. Мадонна. Богиня. И дура! — рыдал и смеялся Борис. — Эх, Россия!.. Твои сыновья дарят тебе бриллианты, а ты выбираешь бижутерию. На стороне. В этом твоя извечная беда. Для кого я писал свой “Сад”? Для кого?!

Утро заплывало к Борису негромким птичьим пением. Форточки были открыты, и душистая весна окропляла в комнате все предметы запахом сирени, одуванчиков и мокрой травы. По подоконнику топталась косяными лапками пара голубей. А на потолке контурный танец заоконной зелени: маленький карнавал теней, который, как правило, освежает поутру душу и отбрасывает в детство. Особенно если рядом с прыгающими тенями пляшут блики солнца. Но радости у музыканта ни от вида весны, ни от долгожданного признания почему-то не было. Почему? Ведь всё уже поросло пыльной травой памяти. Пройдёт время, и Великая Отечественная останется лишь на пожелтевших страницах истории. Кто сегодня, скажем, с болью вспоминает о войне 1812 года? Уже давно нет ненависти к французам, не говоря о поляках, турках, монголах и прочих, прочих. Так что же тебя мучает? Или время ещё не покрывлось сивою мглой? Торчат то тут, то там снаряды и кости погибших. Ещё сверкают в праздник Победы ветераны своими сединами и орденами. И летит над Красной площадью лихая “Катюша”. Ещё стоят у вечного огня с обнажёнными головами обездоленные потомки. В этом-то, наверное, всё дело.

От канала веяло холодком. В небольшом отдалении по воде мягко скользили серебристо-золотые байдарки, управляемые маленькими механическими фигурами гребцов: шла очередная тренировка. Борис сбросил с себя одежду и голышом весело плюхнулся в реку. Поплавал, медленно выбрался из воды, шагая по мелким острым камням. На асфальтовом берегу попрыгал, присел, разогнал кровь и почувствовал себя молодым, здоровым, сильным.

Дома он собрал для Тамары пакет с продуктами, прихватил и письмо из Германии.

Тамара вышла к нему с покорно покаянным лицом, на котором едва теплилась тень тихой монашеской улыбки. Борис вдруг содрогнулся оттого, что, кроме жалости, какую испытываешь, провожая в дальнюю дорогу близкого, тем более, родного человека, ничего к Тамаре не чувствует.

— Ну, как ты, Лапуля? — спросил он чужим, холодным языком, ощущая, что никогда уже не прольётся в его голосе ни любовь к Тамаре, ни счастье, ни радость.

И всё же он поцеловал её в морщинки у глаз. Отвёл в дальний угол к кожаному дивану свиданий. Тамара ещё заметно хромала, и это лишь добавляло их встрече печали и чувства какой-то общей вины друг перед другом. Борис старался быть естественным, раскованным, весёлым, пытался шутить, но по глазам Тамары видел, что это плохо получается, если не сказать, что не получается вовсе. Тогда он вздохнул, опустил голову, помолчал и вынул заветный конверт. Она долго вглядывалась в адрес, словно была близорука и без очков ничего не видела. Однако вдруг какая-то далёкая молния прокатилась по ней. Тамара стремительно достала содержимое конверта и лихорадочно, жадно прочитала. Затем испуганно, словно это была похоронка, взглянула на мужа и снова пролетела по убористым строчкам. Наконец, медленно подняла на Бориса глаза, которые только и остались неизменными — два маленьких, прекрасных серых агата. И упала в тяжёлых рыданиях ему на грудь. Борис вдруг вспомнил, что точно так же Тамара рыдала везде: на улице, в кинотеатрах, в концертных залах, везде, где соприкасалась с убийством, большим горем или, напротив, торжеством добра. Она вздрагивала у Бориса на груди. Вздрагивала всем телом, всем своим существом, всей, в общем-то, не особенно броской жизнью. Вздрагивала вся её любовь, всё её горе и счастье. Борис молча гладил жену по голове и чувствовал, что и по его щеке медленно ползёт горькая, горячая, влажная змейка. Он снова, в который раз утвердился в мысли, что никогда не бросит Тамару, что она, как бы там ни было, — его беда, его счастье, его судьба. Борис в эти минуты твёрдо решил из России не эмигрировать. Ему нужно признание не в Германии, а здесь, на родной земле.

— Я сейчас приду, — решительно сказала она, стремительно поднялась и быстро захромала в конец коридора.

Сколько просидел Борис на кожаном диване свиданий в паузине отчуждения, он не знал. Провалился в какую-то глухую пустоту. Без мыслей. Без чувств. Без ощущений. И зрения. Он в тот момент словно умер, не понимая, где находится. Слышал лишь мягкий шёпот тапочек, чей-то негромкий, с нотами тревоги, разговор, тихий визг проезжавшей каталки. Она захела в отдалённый уголок сознания и там затихла.

Очнулся он от голоса Тамары.

— Пошли! — сказала она весело. — Жизнь продолжается!

Он поднял голову.

Тамара стояла перед ним, одетая в шубу. Глаза её сияли. Борис вдруг увидел её прежней. Такой, какой знал сто лет назад. Юной, прекрасной. Знал и любил.

— Я выписалась! — счастливо выкрикнула Тамара. — Под личную и твою, надеюсь, ответственность. Ты рад?!

И бросилась к нему на шею.

— Мы дожили до победы, родной мой! Я всегда знала, что это будет! Знала! Знала! Ура!

Сборы были недолгими, но тщательными. И всё же Борис попытался представить Тамаре свои аргументы против поездки. В ответ она лишь громко рассмеялась.

— Ты мальчишка, — сказала Тамара. — Глупый мальчишка. За что только я люблю тебя? Музыка космогонична. Она вечна, как любовь. Это одна из эманаций Бога. Музыка принадлежит всем. Неважно, где она прозвучит впервые.

Борис опустил голову. Что тут можно было возразить?

— Давай присядем на дорогу, — сказала Тамара. — Жаль, я не могу поехать сейчас с тобой.

Конечно, Борис знал, что поедет в Германию, что музыка космогонична и вечна, как любовь. Тут Тамара была права. С этим спорить глупо. И всё же какая-то заноза сидела у него в душе.

Вокзал, как улей, наполнился ровным гулом народа. Борис недолго постоял в очереди к билетной кассе. У самого окошка замешкался, словно что-то забыл. Кассирша подняла на него удивлённые глаза. Борис покашлял в кулак. Пауза затягивалась.

— Один до Тулы, — хрипло сказал музыкант и решительно протянул деньги.

Он ехал коридором весны на родину своей музыки. Нужно было поклониться ей, родине, как заветному храму. За окном плотно стояла стена молодой зелени, озаряемая время от времени подвенечной фатою проснувшейся черемухи. Уже вышло на дальние поля шоколадное стадо коров, и клевер сиреневой волной подплывал прямо к колёсам поезда. На горизонте, вдруг увидел Борис, щурясь от солнца, стояла вечная старушка — баба Наташа. Всё в том же цветном платочке.